

Copyright © 2014 by Academic Publishing House *Researcher*



Published in the Russian Federation
Russkii Arkhiv
Has been issued since 1863.
ISSN: 2408-9621
Vol. 5, No. 3, pp. 163-190, 2014

DOI: 10.13187/issn.2408-9621
www.ejournal16.com



Publications Sources

UDC 929/947.0

[An Interview with Anatoly Konstantinovich Agarkov](#)

Conducting the interview; preparing the material for publication

¹ Evgeny F. Krinko

² Tatiana P. Khlynina

¹ Institute of Social and Economic Research of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

41, Prospekt Chekhov, Rostov-on-Don, 344006

Doctor (History)

E-mail: krinko@ssc-ras.ru

² Institute of Social and Economic Research of the Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

41, Prospekt Chekhov, Rostov-on-Don, 344006

Doctor (History)

E-mail: tatiana_xl@mail.ru

Abstract

The interview with Anatoly Konstantinovich Agarkov was dedicated to the history of his family, his military childhood, Nazi occupation, and his private life during World War II. Throughout the war, the respondent lived in Rostov-on-Don with his parents.

Keywords: A.K. Agarkov; World War II; military childhood; family history; private life.

Интервью с Анатолием Константиновичем Агарковым, 1933 г.р., проводилось 14 апреля 2013 г. в г. Ростове-на-Дону, в ИСЭГИ ЮНЦ РАН. Продолжительность составила 127 минут. Интервьюеры Е.Ф. Кринко, Т.П. Хлынина, расшифровка Т.П. Хлыниной. Анатолий Константинович также предоставил подборку своих стихотворений о войне на 18 страницах формата А4, набранных на компьютере, украшенных специально подобранными фотографиями и скрепленных в пластиковой папке для файлов. Стихи им были поделены на две основные темы: «Кадры из военного детства», полагаемые «подлинными свидетельствами войны», и размышления над когда-то запомнившимися мыслями, «передуманными фразами», отнесенные к «художественному вымыслу». Уже после интервью А.К. Агарков написал дополнительный текст о нацистской оккупации города, опираясь на рассказы друга, тети и сестры. В процессе подготовки интервью к публикации этот фрагмент по предложению А.К. Агаркова включен в общий текст, в котором им также произведены отдельные сокращения.

Вопросы интервьюеров выделены полужирным шрифтом. Редакторские исправления и добавления в текст внесены в квадратных скобках курсивом. В приложении приведены

извлечения из стихов А.К. Агаркова. Все они, за исключением последнего, отнесены к «Кадрам из военного детства», что позволяет считать их полноправным историческим источником.

Анатолий Константинович, давайте начнем с Вашего детства. Вы родились в Ростове-на-Дону в какой семье? Нам это важно, чтобы понять, как дальше жизнь складывалась у человека.

В какой семье?

Родители были рабочие или служащие?

Отец и мать без образования.

Работали?

У отца – четыре класса, как тогда говорили, церковно-приходской школы. Он 1904 года рождения. Мать считалась образованной, восемь классов закончила. Вот это то, что я помню и могу сказать. Училась она в школе № 13 на площади Свободы [1]. Кстати, потом там училась и моя дочь, и мои внучки там учились. Эта школа нам очень знакома, она еще бывшей гимназией женской до революции была. А во время войны, ну, не все время, 1942–1943 гг., там был военный госпиталь, и там мои родственники работали, тетка медсестрой работала. Вокруг площади Свободы, собственно, и проходило мое детство, в этом районе.

А жили где?

Жили мы до войны и во время войны на 15-й линии [2].

У Вас был собственный дом?

Собственный дом у нас был...

Кто строил?

Знаете, вот я где-то могу сказать и неправильно, потому что в том возрасте, когда еще были живые старики, меня это мало интересовало. Я вот так, как Вы, не спрашивал, а просто в разговоре что-то там улавливал. Взрослые между собою беседовали, особенно, знаете, на праздники, после этого дела там, вспоминали бабок, дедов. И вот эти отрывочные [сведения]. Я могу только что сказать – что этот дом частный, на 15-й линии, номер 32 он тогда был, сейчас там, по-моему, другой номер. Это, если Вы представляете себе план Ростова, третий дом от 1-й Инженерной улицы. Сейчас она называется Мясникова, тогда была 1-я Инженерная и 2-я Инженерная. Вот, по 25-й линии шел этот раздел, там до сих пор еще остались 1-я Пролетарская и 2-я Пролетарская. Еще до революции, может быть, в конце XIX в., мои две прабабки, а может, бабки, из Воронежской области по Дону приехали на барже в Ростов. Тогда Ростов бурно развивался, требовалась рабочая сила и вот простые [люди], не знаю, откуда, из Воронежской губернии, как говорили, приехали и в Ростове жили. И вот одна бабка, она проходит, по-моему, по фамилии Баржевая. Почему? Жила на барже на Дону. Она работала у Парамонова [3] рабочей простой, кем там – не знаю. У Парамонова была такая политика: хороших работников, в том числе и рабочих, он тогда, как у нас потом говорили, подкармливал, т.е. какие-то льготы давал. Например, я уж не знаю, вот в Нахичевани была выделена вот такая полоса земли такая, и моей бабке, значит, на этом участке помогали построить дом собственный, причем дом был построен деревянный из материала при разборке барж. Но они, знаете, были такие хорошие дубовые доски. Вот там был построен довольно просторный дом на этом участке, и вот эта моя бабка владела, по фамилии Баржевая. Потом она вышла замуж за моего деда Михаила, а фамилия его была Ефименко, ну да, это моей матери девичья фамилия.

В этом просторном доме сколько было комнат?

Было четыре комнаты.

А сколько человек жило?

А вот слушайте. Значит так, у этого моего деда Михаила, который женился на этой бабке-владелице, откуда он – я не знаю, было три дочери – это две мои тетки и моя мама. Первая – это старшая, моя мать Нина, вторая Зина, третья Оля. Почему три? Значит, дед все хотел мальчика, ну, чтобы был наследник. А вот знаете, как судьба или Бог там посмеивается и делает наоборот. Поумирали эти старики очень рано. Я их обоих не помню по материнской линии.

В 1933 г. я родился, у меня память хорошая. Помню, как мы еще жили в каком-то флигелечке во дворе, наша семья, потому что тот дом родительский две сестры Зина и Ольга

заняли. Они повыходили замуж, имели по одному ребенку. А моя мать, значит, она вышла за Агаркова Константина и почему-то жили уже там, не было места и во дворе флигелечек, сарай, приспособленный под жилье. Вот это я прекрасно помню. И потом мои родители построили дом такой, добротный, с выходом уже на улицу, и вот уже войну мы, собственно, пережили в этом доме.

А у Вас своя комната была?

Нет, там у нас в доме было четыре комнаты: две маленьких, как бы считалось спальни. До войны ту дальнюю, что выходила на улицу, там отец с матерью ночевали, а мы с сестрой, ну да, собственно, мы жили во второй спальне, но еще была у нас бабушка, отцова мать. Она, значит, я даже и не помню, она – то у нас ночевала, то ее куда-то выселяли, в кухню там. Вы знаете, очень так было отношение сыновей, причем у нее было три сына, и у старшего Кости, она, собственно, и жила.

Семья была большая?

Ну, у нас было двое детей, значит. А у тех сестер было по одному. Сестра на пять лет старше меня, одна 1928 года рождения, я 1933 года рождения.



Фото 1. Семья Агарковых: мать, Нина Михайловна, держит на руках Анатолия, отец, Константин Федосеевич – его сестру Римму. Справа – бабушка Наталья Александровна Смешнова. Осень 1933 г.

В школе учились?

Родителям спасибо, что уже как-то. Они были необразованными людьми, скажем так, из рабочих, но такая, скажем, у рабочих прослойка грамотная. Хоть отец и не грамотный, но он прекрасно разбирался во всем. Ему перед войной сделали операцию какую-то сложную, короче говоря, он был невоеннообязанным. И вот я помню, что во время войны его, как там были правила, если я не ошибаюсь, каждые три месяца вызывали на медкомиссию. Так и не мобилизовали. Так вот и прошла война.

А братья отца служили на фронте?

А братья – да. Средний дядька Андрей, он 1906 года рождения, наверное, уже поболее образованным был, потому что я знаю, когда началась советско-финская война в 1939 г., он добровольцем пошел на финскую войну. И воевал он там лейтенантом. Хотя он там

никакого военного образования [*не имел*]. Ну, я не знаю, какие-то может быть там были курсы или что. И он все, а эта бабушка, его мать жила у нас, и он все писал, война-то продолжалась три месяца: «Еду, еду в эшелоне». Вроде и на фронт, и все никак не доедут. Но когда он вернулся, он сказал: «Да это я так, нарочно». Он участвовал в боях, там кое-что рассказывал.

Мы очень с сестрой любили читать и вот, значит, от сестры ли я это [*увлекся*]. Отец – он сапожным делом занимался частично, что-то шил там. «Римма, – кричит, – подай там!» На печке стоит смола какая-то. А она, значит, вот так держит книгу, а второй рукой достает этот материал. Он: «Ты что!». Хватал эту книгу: «Зачитанные! Идиоты!». Были сцены. Т.е. семья у нас была вот такая, но я благодарен тогда, когда подрост, родителям, что они научили меня труду.



Фото 2. Учащиеся шестого класса школы № 26 г. Ростова-на-Дону. Анатолий Агарков в верхнем ряду в центре. Январь 1946 г.

Семья верующая была? В Бога верили?

Знаете, насчет веры я не досказал. Дядька Андрей вернулся с первой, с этой финской, потом, значит, через два года началась Великая Отечественная [*война*]. Буквально в первых месяцах его уже мобилизовали, и он служил в кавалерийских частях корпуса генерала Кириченко [4]. Я помню, фамилию он называл – Кириченко. И он вообще был кавалерист, потому что... Вот я не экстрасенс, но я просыпаюсь утром и говорю во всеулышание: «Сегодня мне снился дядя Андрей». Шла война, 1942 г., зима. Иду в школу, возвращаюсь, сидит дядя Андрей у нас в семье. Я помню, что у него шашка была, и говорил он простуженным голосом еле-еле: «Вот, наша часть прошла через Ростов, я отпросился буквально на два-три часа посетить своих родных». Вот так он.

Потом, в 1942 г. во время бомбежки дядьке Андрею осколок бомбы попал в коленную чашечку. Это уже было в ноябре, в самых предгорьях Кавказа, где точно, я не скажу. Он красочно рассказывал, как это происходило, как они в штабе там сидели и вдруг кричат: «Воздух, самолеты!». «Мы выскакиваем в огород и где-то близко взрыв бомбы, я чувствую, меня ударило по ноге, я лег, смотрю в небо, а вокруг капуста, кочаны. Я сорвал лист, обмахиваюсь капустой, а начальник другой где-то недалеко лежит и кричит: “Андрей, ты живой?” А я говорю: “Да, кажется, живой”. А потом самолеты улетели, а я встать не могу. Глянули, короче говоря, отправили в госпиталь. Там, значит, врач осмотрел фронтовой и говорит: “Надо ампутировать ногу”. А я шашку выхватил: “Зарублю! Не дам ампутировать ногу, лечи так”. Врач плюнул, ушел, я там день лежал, никто меня ничего [*не лечил*], потом пришел другой врач». В общем, ногу оставили, гангрена миновала его, может очень быстро

там уколы делали. Потом его переправили через Каспийское море пароходом туда в Среднюю Азию, и после освобождения в 1943 г. он вернулся в Ростов уже комиссованный. Дальше он не воевал, он был здесь, на Ворошиловском [*проспекте*] какая-то была база разрушенная. Я помню разрушенный дом, он в подвале сидел. Начальником, по-моему, был какой-то продовольственной базы. Была база по снабжению фронта, потому что фронт был совсем недалеко от Самбека [5] и, значит, приезжали машинами, там грузили, отвозили на фронт. Но что у них было – было очень много американских подарков, т.е. это подарки уже для военных были. Помню, что стояли такие трехлитровые банки с засахаренными фруктами. Один раз, когда была какая-то гулянка, он приходил к нам и кое-что приносил. И вот это я пробовал, мне запомнилось, что засахаренные плоды, может быть, какие, которые сейчас как-то там называются, тогда мы не знали. Потом там было написано eggs, черепашьи яйца, по-моему, порошок такой желтый. Его взбалтывали, потом на сковородку, получалось. Ну, знатоки говорили, что все это дрянь, не сравнить с нашим естественным продуктом, но, однако, это было хорошее дело.

А письма с фронта он писал домой?

Дело в том, что он был женат, мой дядька Андрей, до войны, но разошелся с женой. И она потом за другого замуж вышла, и поэтому мы были ему самые родные. Ну, как? Я не помню, как. Иногда, может, что-то и писал. А вот третий дядька мой, дядька Митя, он закончил мореходку уже, он 1914 года рождения. Третий брат закончил мореходное училище, вот это, Ростовское [6], и был он техник-механик, что-то такое, по судам. Короче говоря, он работал в проектно институте «Гипростройдормаш» до войны, а потом, когда началась война, его с каким-то заводом эвакуировали в Ташкент, бронь он имел, как работник военного завода. Но в 1943 г., по-моему, или даже в 1944 г. бронь сняли, и он потом служил в Черноморском флоте. Он был механиком на корабле, крейсере «Красная Абхазия» [7]. Вот, он нам присылал открытки, присылал пару фотографий, как он там в этой бескозырке, значит, но потом не знаю, куда-то эти фотографии исчезли. Я подозреваю, что родственники утащили. По пьянке там, на праздник начинали показывать фотографии, потом все шли к столу, а потом, через несколько дней смотрели, какой-то фотографии не стало, потому что не у всех же они были. Вот, он нам присылал, а у него, у дядьки Мити, было двое детей, но они тоже что-то там разошлись. Вот, там переписки не было.

А разошлись во время войны или до войны?

По-моему до войны, но я не берусь. Они жили далеко, нет, не берусь сказать. А вот еще Вы что-то спросили?

Про религию: верующие или не верующие?

А, да. Ну, значит, иконочки были у бабушки моей, Наташи.

В комнате?

Да, она над своей кроватью там вешала...

Эта та бабушка, которую Вы время от времени перемещали?

Да, собственно говоря, жила у нас. Но в первую оккупацию она с нами была, а во вторую оккупацию ее уже не было. Ее забрал младший, дядя Митя, в Ташкенте она жила, и вернулась тоже она из эвакуации после освобождения. Но помню, что она была в таком плохом состоянии, что ее на носилках принесли с вокзала. Они там так голодали в Ташкенте, что у нее была дистрофия. Она была, как вот говорили, из Бухенвальда скелет. Вот так ее принесли. И хотя мы тоже ели не досыта, но у нас она быстро поправилась.

Иконки у нее стояли?

Иконки у нее, даже помню икона была. Были какие-то два чудотворца, я не знаю, что там было, по-старославянски было написано. А еще у нее была иконка металлическая, такая медная Богородица с младенцем на руках, там рельефно так, барельефно выдавлено. Вот эту иконку я сохранил, и она висит у нас в квартире над кроватью. Она потемнела, я чистил, чистил, но все равно видно. Дело в том, что это уже XIX в. иконка, как я понял...

Вы сохранили ее как произведение искусства или как память о бабушке?

Ну, тут все: и память о бабушке...

А сами не верили в Бога? Для Вас это было значимым?

Родители никогда там перед иконами [*не стояли*], в церковь не ходили, скажем так, и я крещен не был, но, когда свистели бомбы во время войны, то мама моя кидалась там: «Матушка Богородица, пронеси и помилуй!». И мы все, даже не понимая чего, тоже

кричали: «Богородица, помоги и прнеси! Боже, нас помилуй!». Вот, отношение людей к вере...

А повторяли просто за ней, или откуда-то знали слова молитвы?

[Смеется] Ну, психология человека, ну как. Кто нас учил ругаться в детстве? Никто, однако, я все, извините, ругательства знал. Вот даже я помню: услышал какое-то слово на улице, думаю, вот это ругательство! Мне было 6–7 лет, я уже знаю три. Для чего это? Я может, был просто любознательным. Я всем очень интересовался, я сам научился читать, т.е. сестра была старше меня на пять лет, вот, она уже училась в школе, а я еще сидел дома. И с голоса я на память, значит, запечатлевал в памяти длинное стихотворение. Например, было стихотворение что-то: «У нас на границе, граница на замке». И очень длинное было стихотворение про наших пограничников-героев, как они задерживают диверсантов. И был какой-то праздник, мать взяла меня на работу к себе, там как коллективное отмечание...



Фото 3. Слева – Станислав Адуховский, справа – Анатолий Агарков. Май 1949 г.

А мама, где работала? На заводе каком-то?

Нет. Она, в основном, была домохозяйкой. Иногда она поступала временно работать где-нибудь продавщицей, там вот такое. Я помню, что там рабочий класс, подвыпившие все. Она ставит меня на стул: сейчас мой сын мол, а я говорю, сам буду говорить: «На границе. Стихотворение в двух частях». Сейчас ничего не могу вспомнить, ни одного даже слова.

«На границе тучи ходят хмурые»?

Нет, длинное что-то говорю и помню, что когда я закончил первую часть, все: «Ура!». Стали мне хлопать, схватили меня, начали целовать, а я кричу: «Да подождите, это еще не все!». А все уже включили патефон, музыка, т.е. я уже всем надоел, но я по простоте не понимал, а мать говорит: «Да замолчи! Хватит тебе орать, все ты уже рассказал». А я: «Да я же не все рассказал!» Дома я мог расстелить карту мира на полу и два часа лазить по этой карте, это когда я уже научился читать. А раньше, помню «История Древнего мира»...

Учебник?

Учебник сестры. Я брал, открывал, там какие-то древнеегипетские иероглифы, какие-то рисунки. Меня это завораживало буквально! А вот эти буквы, какие-то значечки, для меня тоже имели магический смысл. Ну, когда не знаешь. Вот, что такое «я», например? Вот, я смотрю, не знаю что это «я», а я начинаю ее писать там куда-то. В конце концов, с помощью кого-то, конечно, я выучил буквы. Знал: «а» – это а, «б» – это бэ. Ну, как мы учим буквы: бэ, вэ, гэ, мэ. Эм мы как-то не говорили, а говорили: мэ. Вот, я, оставаясь один часто, доставал и смотрел книгу и думал: ну как же это читать? Я, бэ, у, дэ, у. И потом, в какой-то момент для меня вдруг что-то сверкнуло: нужно говорить, как бы я сейчас с точки зрения грамотности сказал: нужно, когда читаешь, произносить не название буквы, а звуки. Не бэ, а б. Я начал: я б у д у. О! Потом я вдруг понял, что если я так быстро буду говорить, то уже

будет слово. Вот так я сам научился читать. Это было мне лет пять, наверное, вот так вот. Я этим очень гордился, но это никому не было нужно. Я расстилал карту мира, меня завораживало: залив там какой-то Королевы Мод. Ну, что это? Спрашивал, никто не мог сказать. Или там: Магелланов пролив. Почему?

Поскольку я научился читать, начал рано книги читать. Причем не всегда там, что положено по возрасту. У нас отец как-то был на каком-то собрании, в общем, обычно книги у нас не покупали, были так, одиночные книги, а это приносит сразу две книги: «Ляо Чжай», перевод с китайского, «Рассказы о чудесах» – я помню подзаголовок [8], и вторая – «Метаморфозы» Овидия [9]. Там значит, этот гекзаметр мне читать было невыносимо, но там были, извините, иллюстрации: Ио, нимфа в неглиже бежит, за ней там сатир гонится. «Это детям еще нельзя смотреть», – у меня забирали [смеется]. А рассказы «Ляо Чжая» о чудесах они промухали. И тогда я стал там, а это была большая красивая книга, такая, в красном переплете, знаете, ледериновая [10]. Когда она была новая, она была замечательная, потом я ее истрепал. Там были и такие бытовые рассказы с эротическим содержанием, скажем так [смеется]. Я даже сам это не дотумкал, а читал, мне даже самому не очень нравилось, потому что не интересно. Ну, мальчишкам – что там, чтобы про войну было, про рыцарей каких-нибудь, про пиратов, ну, по крайней мере, про моряков, про путешествия. А тут, значит, не поймешь о чем. Некий И – удачливый вор, я помню, например. Вот, значит, как он там воровал и был очень удачливый. Причем, это все на двух страницах, короткие новеллы, но в переводе с китайского. Видимо, это была редкость. Короче говоря, был у меня такой приятель Юрка Волков. Он был на два года старше меня и многому меня научил такому, полезному. У него отец был железнодорожный какой-то работник или служащий, они жили напротив, там жакт [11]. Я не знаю, как там перевести, но говорили: жакт. Это общий двор и очень много квартирок таких вот, как у нас флигелек был, так там жили люди. А были и более такие, качественные дома, кирпичные дома. Там Волковы и жили. Меня он, помню, в шахматы научил играть, приглашал всегда, мне у них нравилось: всегда так чисто там было, и в шкафу книги стояли, т.е. интеллигентные люди были.

Вы обратили внимание на чистоту, а в Вашем доме была чистота?

Ну, я скажу, да, мать у меня была чистолюбивая и все, но у нас была другая чистота, такая, бедная, понимаете? Ну, если пол там давно красился, Вы понимаете, [он] облезлый. Ну, подмести там [можно], у нас не валялся мусор. Но не так, как у них, заходишь, там – ковер, дорожки. Причем, у них, по-моему, три женщины было неработающих, родственницы. Он мне книжки давал почитать, а потом: «Ты мне дай что-нибудь почитать». И я ему дал вот эту, «Ляо Чжая» почитать. И вот, потом сестра, она была старше меня, говорит: «Я иду через жакт, смотрю, Юрка Волков читает, вокруг него еще какие-то пацаны и все хохочут. Я подошла и слушаю: там эротика сплошная». Для детей восьмилетних это, тогда, знаете, запрещалось, считалось хулиганством. И, значит, она выхватила эту книгу: «Откуда вы взяли? – Это Толя дал почитать». Сестра прибежала и мне дала немножко за это. А я и не знал. Когда она ее спрятала, я ее нашел, сам потом искал эти рассказы. Там было несколько рассказов, ну я, может, и скажу кое-что. Сейчас это кажется настолько наивным и примитивным...

Особенно на фоне того, что сейчас показывается...

Да, но тогда было другое время, 1938–1939 годы, что Вы! Вот, жил-был какой-то мальчик. Он был аккуратно, хорошо сложен, но на самом тайном месте у него было с тутовый червячок [смеется]. Вот так, догадывайся, что. И как он очень страдал из-за этого, и как у него было свидание с девушкой, а она потом увидела, что у него там с тутовый червячок и стала плакать, а потом явилась какая-то волшебница, навела ему какие-то лучи на это место, и у него стало все нормально. И девушка была счастлива, и он был счастлив. Вот такого содержания рассказы. И вот за такой рассказ я получил по мордам, даже не зная, что я совершил такой проступок.

А почему Вы не эвакуировались?

А как-то нас никто и не эвакуировал.

А как Вы узнали, что началась война?

Вы слишком многого хотите от меня. Вы же поймите, что, во-первых, мне же тогда было 8–9 лет. Во-вторых, я был далек от вот этих вопросов, что Вы сейчас задаете. У нас, у

мальчишек, была своя жизнь немножко, скажем так. Полная свобода, недосмотр, шлялись, где хотели, с утра до вечера. Ну, иногда за это получали там трепку, ну, такая была жизнь. Некогда было там нами заниматься. Это раз. Во-вторых, что я только могу сказать? Вот, моя мать была мобилизована. Вот, как раз пойдут более серьезные вещи, как тогда говорили, на рытье окопов. За городом рыли противотанковые рвы, окопы, и она там надорвалась...

Это было в 1941 или в 1942 гг., не помните?

Нет, по-моему, это было в 1942 г.

Жарко уже было или зима была?

Нет, это было летом...

Летом 1942 г.?

Моя мать стала жаловаться на нестерпимые боли в боку. Ну, во-первых, как тогда на это смотрели? А может, она симулирует, не хочет идти на рытье окопов? Может быть, это мои домыслы или разговоры такие были? Приходили врачи, ставили диагноз. То говорили «колит», я не знаю до сих пор, что это такое. То еще что-то говорили «аппендицит». В конце концов, ее положили в больницу, и лежала она здесь на [проспекте] Соколова, там, внизу. Сейчас там онкодиспансер, Соколова, 9...

А раньше что там что?

А была тогда больница водников, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот там, она говорит, был один врач очень хороший, такой маленький старичок, еврейчик, как она говорила. Она называла имя, отчество, но я не помню. Один, говорит, хороший врач попался. Он ее послушал, обследовал и говорит: «Милочка, да у Вас же почка опустилась от поднятия тяжестей». Вот этим она страдала. Как-то там они ее подвязали, постельный режим, она там несколько дней лежала. И были просто бомбежки. Но начались сильные бомбежки Ростова [12]. Громадная тонная бомба попала в Дом Советов. Причем он же так, как бы из многих зданий, и вот в тот участок, который выходил на [улицу] Станиславского. Я помню после войны, дом-то громадный был, его одной бомбой не разрушишь, а посередине там была вот такая громадная развалина. Объявили: значит, граждане-больные, все расходитесь по домам, больница закрывается. И вот она в таком охающем состоянии пришла домой, это уже перед самой оккупацией. Вот это я помню. А никто нас не эвакуировал. Все соседи, что вокруг нас жили, никто не эвакуировался. Только семья Юрки Волкова – да. Его отец, его на фронт не брали, он по брони был, из железнодорожников. Он такой ходил, видно, что человек интеллигентный. Вот, они эвакуировались, их семья, а больше никто не эвакуировался. И еще там у нас еврейская семья была – Гордоны, вот они эвакуировались. Но он был каким-то начальником, по-моему, и, значит, их организованно [вывезли]. Ну, как происходила эвакуация? Куда-то там организованно должны были собратся, подавали вагоны или состав или пароход там какой-то. Нам – никуда, я это не могу сказать.

А как оккупация началась?

Вот, с первой оккупации что помнится. Самое начало войны, я помню, было так. Хорошее летнее время, хорошая погода, вот, как сейчас, скажем. Солнце, очень тепло. Мне было восемь лет, а я учился в школе с семи лет, уже закончил первый класс. У таких мальчишек, как у меня, вся одежда была – одни трусы и все, босиком, даже маек никаких. Но не без того, что у кого-то было, но я предпочитал в одних трусах только бегать. И вот это до полудня, а было воскресенье, я пробегал. Приходит дядя Леня, это муж тетки Зины моей, мы все три семьи жили в одном дворе, от бабки Баржевой что досталось, а бабка и дед – они поумирали в 1930-х гг., что-то я даже не помню. Я потом высчитывал, сколько им лет было: лет 50, не больше. Причем что-то один умер и через несколько лет другой умер. Я их не помню, не знаю. И вот, значит, в полдень, в 12 часов или чуть позже приходит дядя Леня, не знаю, где он там был, собирает тяпки, лопаты: «Я на огород». Я говорю: «Дядя Леня, а мы пойдем с Вами!» «Какое, куда мы пойдем? Ты слышал, война началась!» Я говорю: «Не слышал». А у нас, по-моему, был приемник. Или не было? Нет, у нас ничего не было. И так вот, люди, которые жили вокруг, ничего [не знали] и только к вечеру, помню, испортилась погода, стал накрапывать дождь, я сел у окна на улицу и обратил внимание: все стали кругом бегать, вот так вот, все торопливо бежали туда – сюда.

Нет, подождите, что-то было. Отец включил приемник, и была такая передача: не первый раз, там немецкие империалисты или как там развязывают войну с Россией, но

пусть они не забывают, что при такой-то императрице Елизавете Петровне русские уже брали Берлин [13]. Значит, и в этот раз победа будет за нами, как там сказал... или это позже? Видите, я тут уже могу накладки [делать]. Вот, Сталин же сказал: «Победа будет за нами!» Или это Молотов сказал? Я уже тут [путаю], но помню, что вот так началась война. И мое лично было очень легкомысленное отношение. Говорю: «Мама, война, а что вы в таком горе? Ну, была уже война с Финляндией. Ну, дядя Андрей там ехал-ехал, не доехал». Я думал, что и эта такая будет. Потому что я еще не представлял, что такое экономический, военный потенциал той же Финляндии, Германии. Все казалось это так примерно одинаково. «Да, ты понимаешь, – мать говорит, – что такое война? Хлеба не будет!». А я: «Ну, что, хлеба не будет! Будем печенье кушать, пирожные, булочки». Т.е., я понимал очень буквально: не будет хлеба – т.е. не будет вот этого хлеба, 90 копеек которого стоила буханка, а все остальное будет, якобы. Вот так вот начиналась война. Потом дядю Леню быстро в августе мобилизовали, дядька Андрей ушел. Ну, это уже другое.



Фото 4. Работа над интервью: Т.П. Хлынина, А.К. Агарков, Е.Ф. Кринко. Июль 2014 г.

Занятия в школах продолжались? Вы учились осенью?

Да, у нас занятия были прерывисто. Первый класс я закончил нормально. А в 1941 году уже 1 сентября мы пошли в школу нормально, но где-то в ноябре начались налеты. В основном тогда, в 1941 г., немцы налеты делали на вокзал, больше на Батайск. Батайск считался такой [крупный] железнодорожный узел, там много составов было. Причем и наши бомбили во время немецкой оккупации больше Батайск. Я помню, первое время объявляли тревогу: «Воздушная тревога! Сирена!». А уже было холодно, мы одевались. У нас за старым домом, где жили тетки, сад был. И вот как-то, шла уже война, я иду в свой сад и слышу какие-то чужие голоса. Думаю: кто там? Смотрю, там масса народу, заборы все снесены, и роют траншею. Прямо вот так вот, через наш сад, через соседский сад, и там, и там, а заборы все сняли, деревянные, и этими заборами, досками перекрывают щели, и сверху насыпают землю. Это уже было прям решение райисполкома, горисполкома. Нас не спрашивали. Мы же не были владельцами, мы были арендаторами у государства этой земли, на которой жили. Но аренда писалась бессрочной. Но – аренда, понимаете? [смеется] Т.е., официально мы не могли продавать землю. Мы могли свой дом продать, но не землю, на которой [он находился], хотя все понимали, что и земля тоже продается. Но официально, юридически это нигде не оформлялось, т.е. государство, если надо было, могло снести и построить там какой-то большой дом или там сооружение какое-то. Ну, Вам взамен предоставлялась жилплощадь, как-то, конечно, шли навстречу, договаривались. И мы,

значит, как тревога – бегали в эту щель. Одевали, тогда стеганки были, такие телогрейки прошитые, и мы, значит, там. Они и в мороз нам были хороши, и в любую погоду. А потом нам надоело туда бегать, и я помню, что последний раз мы уже с отцом ночевали почему-то на пороге, завернувшись в эти телогрейки. Он говорит: «Слушай, а ведь они идут не Ростов бомбить». А вот так можно было видеть разрывы, прожектора, поэтому хоть и ночь, но как-то мы видели этот налет. И мы, помню, с отцом залезли на крышу нашего дома, чтобы хорошо [видеть]. С крыши хорошо виден Батайск, и вот мы видели, как немцы бомбят Батайск. А потом, значит... трудно мне, я не хочу просто выдумывать. Я помню, что перед самой оккупацией, были же по карточкам хлеб, там все продукты, и кто-то сказал: «Идите на 20-ю линию, там без карточек дают хлеб». Мы побежали туда, но, видно, мы прибежали...

Кто побежал – Вы, мама, папа?

Я с матерью был. По-моему, еще не берусь [сказать], тетка. Или они потом ходили – сестра, тетка? Вот, я почему это хочу [сказать] – я написал в своих стихах этот случай, поэтому пересказываю. Вот, мы уже зашли в магазин, еще наши бойцы ходили, и красноармейцы с винтовками прошли строем куда-то в сторону Дона, на лошадях там, брички проехали. Мы зашли уже. Потом стало подозрительно тихо, пусто везде, а очередь эта в магазин стоит, жметя, но кое-то уже там стал разбегаться. И вдруг кто-то говорит: «Да Вы посмотрите в окно, это же немцы едут!». Глянули – вот так, с 20-й линии на площадь Карла Маркса, вот так поворачивают по [улице] Советской вправо туда, в сторону центра города. Ну, Вы представляете? Вот там до сих пор есть какая-то хлебная фабрика, и вот к ней был магазин. Это здание там до сих пор существует, там долгое время был обувной магазин, если Вы знаете, а сейчас не знаю вообще чего. И мы все побежали, но, конечно, там не всем было видно. Я смотрю, там что-то мелькает, едут немецкие машины, танки, мотоциклы, и ни стрельбы никакой, ничего нет. Вот это я помню. Вот это было [14].

Я читала, там были два красноармейца, которые зашли в магазин [*речь идет о стихотворении респондента*].

Да, да, вот это вот там. Значит, они там зашли, сидели, кушали хлеб там этот. И вдруг, когда увидели – что делать? Самые рядовые, обыкновенные такие, молодые парни. Ну, я сейчас плохо помню. Мне и не давали [увидеть], там окружили, гвалт был. Короче говоря, один старик там стал: «Сынок, пойдем ко мне, я тебя переодену, переждешь». Он: «Я дезертиром не могу быть, совесть не позволяет. – Да, какое, наши вернутся или ночью проберешься на ту сторону...». А он – нет, значит. И он выскочил, слышим потом – стрельба. Потом, когда проехала эта колонна немцев, вышли. Мы вышли, смотрим – никого. А туда дальше идем, вот там, где был поворот парка [имени] Фрунзе, это уже в последний момент его застрелили. Да, трупов много валялось везде, как-то уже и не обращали внимание. Знаете, человек ко всему привыкает. Просто ужас какой-то.

Не хоронили?

Нет, в те моменты, когда... Ну, во-первых, это, как говорится, люди посторонние ж бежали мимо. А потом вообще считалось подходить к убитому – это плохой тон, понимаете? Потому что: «Ты чего его там обшариваешь?», – [говорили люди], которые шли. Всякие же были случаи. Мне, например, мать говорила: «Не подходи никогда к убитому, знаешь, не надо. Если он убитый, чем ты ему поможешь?». А потом, значит, пришли мы домой, и в тот же день, я уже [не помню], какие-то отрывочные [воспоминания], загорелась нефтебаза внизу. У нас 15-я линия, недалеко Дон, там крутой спуск. Черный дым и сильный такой восточный ветер. Черный дым идет туда, на запад, и вдруг какой-то взрыв, доски полетели. Отец говорит: «Да это бочки взрываются с бензином на нефтебазе». А потом вдруг открывается наша калитка, и мужчина совсем чужой ведет женщину, а она ранена, и у нее из головы кровь сильно течет. «Что такое?», – мать выскочила. «Помогите, – говорит, – снаряд разорвался недалеко, и ее осколком ранило в голову. А я не знаю, спрашиваю ее, откуда Вы, чего. Она шла, я тоже был там. Ее ранило и не знаю, что делать». Ее завели в дом, мать начала рвать простыни, завязывать ей голову, а нам кричит с сестрой: «Бежите в подвал, прячьтесь! Это обстрел уже, наши стреляют по Ростову, из орудий». Оттуда, из Батайска, с той стороны, как тогда говорили.

Помню, что накинули эти телогрейки и побежали, вот я тоже это написал. А почему? Я потом, после войны вот так рассказывал приятелям, а они: «Ты должен это обязательно написать». А я думаю: да кому это нужно? А потом, уже от нечего делать, став стариком,

пенсионером, я вдруг обнаружил дар, что я могу рифмы подбирать [*смеется*]. Я никогда стихи не сочинял, чтобы там с натугой какой-то, знаете, как профессионал – вот, сидит целый день – нет. Если у меня все получалось, я вскакивал, что-то записывал, иногда быстро, а если не шло быстро – это заканчивалось, и я менял тему. Мы побежали, был взрыв, я все это описал в стихах. Вот так началась для нас оккупация. А потом решили, спрятались там, рядом к нашему дому по 13-й линии примыкал молкомбинат. Это был склад молкомбината, было какое-то полуподвальное помещение, там всякая молочная продукция хранилась. И там тоже – как убежище, там было написано: «Бомбоубежище». Официально, не то, что нельзя было никому, там уже не было никакой продукции, всегда были двери открыты. Мы там прятались, потому что все-таки, что такое щель? Эта земля, да еще зимой. Там очень не комфортно было, скажем так. [*Хотя*] мы не болели ничем во время войны, вот, что очень характерно. Я совсем раздетый выскакивал и что угодно, и никогда не было никакой простуды, никаких ни у кого не было ни запоров, ни аппендицитов, ничего. Потому что, если бы это случилось, лечить было некому, не было не только там поликлиник, больниц, но не было и аптек. Не знаю, кто болел там, лечились там какими-то народными средствами, какие-то отвары, взвары, потом эти [*смеется*] банки ставили.

А потом мы решили пойти, у бабки там хорошая подруга жила, где сейчас радиаторный завод на улице Каяни. Вот, за этим радиаторным заводом какой-то поселочек, между антенным полем и армянским кладбищем. В этом поселке жила ее подруга, бабка говорила: «Да у нее там большая площадь, она всегда говорила, приходите, если что». Вдруг начался очередной обстрел, и мы побежали. Началась какая-то паника в семье, мать выскочила на улицу, свистит снаряд, она вот так прислонилась к стене и стоит, раскрыв рот. А отец: «Нина, побежали!». А она и не слышит ничего. Он ее схватил за руку, потянул, т.е. уже какой-то, ну, как бы это выразиться, психоз, что ли. Бежали уже, как говорят, вылупив глаза. Вот так вот и у нас было. И мы побежали. Я помню, что мы подбегаем к [*улице*] Советской, и едут мотоциклы, немцы едут по Советской. Все в черных кожаных каких-то одеждах, такие мотоциклы громадные. Мы это немножко переждали, когда они пройдут, и перебежали, а я стал оглядываться и смотрю, как они по площади Карла Маркса поворачивают вверх туда, на 20-ю [*линию*]. Еще на 20-й нос к носу столкнулись с группой немцев.

Прибежали мы к этой знакомой, жили у них несколько дней. Бежали мы в панике, я не помню, мальчишка был. Ну, наверное, что-то съестное брали с собой. К чужим людям в то время, представляете себе? Да, еще был случай. На 16-й линии, когда мы бежали, мы потом обнаружили, что бабки нет. Бежали, а она, как пожилой человек, отставала, позади всех и нет. А случилось так: вот, большой армянский дом на 16-й линии, почему-то мы называли его армянским. Ну, там много армян жило и не только армян. И вот там мужчины, как раз обстрел был, они выглядывали из какого-то выхода из подвала, тоже бомбоубежища. И увидели: мы уже пробежали, а сзади бабка эта семенит, они подскочили, схватили бабку: «Куда ты, старая? Давай, значит, в убежище!» И затащили ее в этот подвал. И она там сидела потом. Мы побежали сами, а бабка сама пришла невредимая, все. Но мы тоже переживали, думаем: «Может, ее убило по дороге?»

А потом, когда мы жили у той, я уже и фамилию, и имя не помню этой тетки, работал водопровод, но работал очень плохо. Так, знаете, струйкой вода шла. И вот у них там, где-то в глубине улицы они жили, а на углу по Каяни была колонка водопроводная. Я когда бывал иногда в «Горгазе», всегда обращал внимание: вот, там, на углу, колонка, где мы жили, а какой дом, я не мог вспомнить. И она, значит, пошла к этой колонке за водой. А около колонки стоит немец с винтовкой, часовой и стал кричать ей: мол, матка, они женщин «матка» называли – это по-польски «мать». Вот, почему-то они по-русски старались польскими словами, думали, нам тоже не очень было понятно. «Матка, вэк, вэк», т.е. «убирайся». А она: «Да чего ты, слушай, мне вот ведра набрать надо». Еще так приличное было расстояние, винтовку поднимает и ба-бах в нее. А у нее была длинная, широкая юбка, теплая такая, и она, видно, вот так развевалась. Короче говоря, пуля пробила ей юбку. Она бросила ведра эти, и бежать домой. Прибегает домой: «Ой, ой, – показывает, – неужели попал? Вот мерзавец, а!» То ли он хотел напугать, то ли он не попал просто. В общем, уже никуда не вылазили. Потом еще прошло несколько дней, и я вылез на улицу. Смотрю, вот там видна ограда армянского кладбища, и прямо около ограды похороны проходят. Причем

я смотрю, там мелькают головы, я понял, что это немцы, и священник махал, по-моему, что-то там читал. Ну, доносилось, далековато было. Т.е. немцы там хоронили своих убитых. Вот это все, что я видел.

Потом произошел случай: живем, живем, а питание – какое там? Утром: «Садитесь, чай пить! Толя! – Да я не хочу!». А сам же голодный! Ну, неудобно как-то, мы же знаем. Ну, там тебя насильно посадят, ты там немножко поел, т.е. жили впроголодь. И мать говорит: «Мам, ты бы сходила, там у нас есть запасы: и картошка, и пшено, принеси, что мы на их шее сидим?» Тут она пошла, а уже наши были в городе, и она попала в переplet, вернулась, и мы после этого сразу пошли домой. Я помню, мы подходим к нашему дому, и я издали уже вижу: лежат человек пять убитых перед нашим домом, гражданские, и у одного, я уже рассказывал, поднята вверх рука. Так по этой руке я и увидел, что они как были, так и лежали.

А как эти трупы появились около нашего дома? Наш дом третий от угла был, и, видимо, на углу 15-й линии в первую оккупацию ночью стоял немецкий часовой. Я не знаю, что он там стоял, потому что там столько линий. Я видел, что только я видел, и все. Они не ходили, по крайней мере, по нашим дворам, никто не ходил. Как-то утром смотрим на улицу: на той стороне лежит один человек, вот так на боку, поднятый воротник, полупальто какое-то или полушубок. Знаете, как будто спит, вот так на боку, лег и укрылся воротником. Поднятый, твердый такой воротник, знаете, как раньше были такие добротные пошивки наши. Вот так и лежит. Валенки на нем, на бок, в такой позе и лежит. Мы поняли, что это труп, потому что он лежит и лежит, не шелохнется, ничего. А потом все время какая-то стрельба идет, близко ли далеко, на все не будешь реагировать. А потом, через день – два прямо на дороге, прямо напротив нашего дома человека три или четыре, молодые парня лежат, буквально друг на друге лежат, и видно, что они на бегу, они убегали...

Гражданские?

Гражданские. Убегали со стороны [улицы] Инженерной, и их скосила очередь пулеметная или автоматная. Они вот так вот: один лежит, другой сзади него, а третий через них обоих и рука вот так задрана, три или четыре человека. По-моему, четыре. Они все лежали и лежали, мы уже возвращаемся домой, уже наши зашли, и вот мы вернулись домой, посмотрели на этих – лежат. Я запомнил, что никто их не обшаривал особенно почему-то. Потом, как я помню, в первую очередь, с трупов снимали обувь, особенно если она была не старая, понимаете? Можно носить. А это – никто ничего, как-то еще совесть была у людей, что ли. У тех, у обыкновенных людей, которые вокруг жили. Но все же страшно нуждались. Потому что и до войны жили [плохо], у меня не было там двух пар обуви, была какая-то одна. Зашли мы в наш дом, я помню, что у нас был аквариум с рыбками – сплошной лед, и красные рыбки внутри замерзли. Я очень горевал по поводу этих рыбок. А потом, значит, я не ходил, но говорили, что немцы много расстреляли на 40-й линии, потом много расстреляли на [улице] Верхненольной. Вот эти кадры...

Но Вы не ходили?

Нет, я не ходил. Эти кадры обошли потом весь мир, и даже на Нюрнбергском процессе этих главных военных преступников показывали эти кадры ростовские. Почему? Просто сразу 29 ноября оказался кинооператор. Ведь тоже кинооператоры не ходили за каждым во время войны. Может, на армию полагалось один – два кинооператора. Помню, дня через два подъехала грузовая машина к этим убитым около нашего дома, все это я видел. Трое или четверо молодых парней с шутками, прибаутками стали брать эти трупы. Вот так, значит, кинет в кузов. Он ба-бах! Меня прямо ужас от этого звука брал. Смотришь: это вроде человек, вроде как на нем все должно быть мягкое, человеческое тело, там кожа, мясо. Кидают, а он ба-бах, знаете, такой звук. Вот так они всех покидали, потом сели в эту же машину, вот так, впереди, около кабины сидения. Один достает кусок хлеба из кармана, разломил, стал всем раздавать, сидят, жуют. Потом похлопали по кабине и поехали вниз по 15-й линии, видимо, еще где. Вот так они по улицам собирали трупы. А потом, я уж не знаю как, пошли похороны смотреть в парке [имени] Фрунзе [15]. Я помню, что штабелями стояли гробы, штабелями, деревянные, правда, ничем не обшитые. Обычно же красной материей обшитые, а это просто из досок грубо сколоченные гробы, и вот так они, много их стояло. Вот это первую выкопали братскую могилу на том месте, где сейчас это захоронение. Был какой-то митинг, я помню: «Смерть немецким оккупантам! Отомстим!», – произносилось.

И вот эти гробы постепенно туда [*опускали*]. И разговоры, слушали же: «Сюда привезли этих, которых расстреляли на Верхненольной». Тоже, вместе с бойцами – там все. Вот так вот, это была первая оккупация.

Вы потом про черные бушлаты описываете. Видели моряков?

Да, это между двумя оккупациями. Вот, занятия уже в школе были, школа еще целая была, на 13-й линии, если не ошибаюсь, школа № 10. Почему? Потому что потом я учился на 10-й линии, школа № 26. Я потом уже стал путать. Это была самая ближайшая школа к нашему дому, и там меня отвели в 1940 г. А почему? У меня как-то все друзья были старше меня. Там Гарик Зеленин, Борис Жаботинский, ну, Юрка Волков, тот вообще на два года, он в другой школе учился. Он уже как-то был вроде друг-товарищ, но немножко постарше, поэтому вроде уже расстояние было какое-то [*смеется*]. А те уже – вот Гарик, Борька – мы чуть что – дрались, в глаз там [*могли дать*], и ругались, так как все были свои. Потом мирились на следующий день. Они все были 1932 года и вот в 1940 г. пошли в школу. 1 сентября вечером, ну, не вечером – днем приходят, и Гарик с таким [*выражением говорит*]: «Да, у нас такой класс, у нас учительница, у нас доска, мы там то-это, мы писали. Некогда мне с тобой, пойду домашнее задание делать». Все это с таким пафосом. Я завидовал страшно. Я пришел домой и стал плакать: «Мама, отведи меня в школу». А она: «Да ты чего? Сиди там». Ну, в общем, я ныл, выл там, а потом я же до [*школы*], сестра учила там немецкий язык, а почему немецкий? Это, значит, позже было, в пятом классе. Она учила что-нибудь, а я запоминал, она не могла вспомнить, а я потом подсказывал. И потом я сам же научился читать, и уже с этим багажом я пошел в школу.

А как пошел? Помню, 2 сентября мать меня утром [*повела*], а сестра уже в пятый класс стала ходить. А первый класс у нас вела учительница первая моей сестры и меня Флоренция Каспаровна Аюян – армянка, замечательный человек. Она отучила [*сестру*], уже знала нашу семью, и вот к ней 2 сентября ведет меня в школу мать. Белая рубашка на мне, какие-то штаны. Я говорю: «Мама, ну, как? Надо же завтрак!». Да, в газету завернули два яйца, там хлеб, помидоры. Я иду вот так вот. Она ведет меня за руку, подходим к школе, а другой рукой я этот завтрак прижимаю к груди. А перед входом в школу тротуара не было, а так, [*участок*], поросший травой, дикой травой, лебедой какой-то, как тогда называли – длинная, вьющаяся трава. А еще перед школой вдоль стены сидят такие гаврики, как я, пацаны, такие все хулиганистые были, и хохотали там, смеялись над всем, над чем угодно. Короче, смотрят на меня, и я, надо же, цепляюсь ногой за эту лебеду, падаю на грудь и раздавливаю этот завтрак. Сразу на белой рубашке появились эти пятна, мать давай скорее ругать [*смеется*]: «Как я теперь тебя покажу Флоренции Каспаровне?». Вытерла кое-как носовым платком. А тут же хохот [*раздался*]: «Гля, ты, Кабася!» – на меня. Я, наверное, был полный до войны, «Кабася» прозвали. Потом я был веснушчатый, меня сразу «Рыжий» прозвали, и еще у меня была кличка «Халва» почему-то. Не знаю почему, может быть, я где-то сказал, что люблю халву. Короче, привели меня к Флоренции Каспаровне: «Флоренция Каспаровна, и воет, и воет дома, ну, спаса нет. Пусть он походит к Вам в класс. День – два, ему надоест и все, ну, я Вас прошу». Она: «Ну ладно, хорошо». А я на полном серьезе. «Так, где свободное место? У нас новый ученик, посадим». Сзади все занято, самое хулиганье сзади сидит. Впереди свободные места. Всегда в школе первые парты свободны. «Ну, вот, садись с этой девочкой рядом. – Я не хочу с девочкой. – Нет, садись сюда». Ладно, я сел.

Вот, начался первый урок, она изобразила на доске в косую строчку: «Будете писать единицу, смотрите». И написала с интервалом: носик, потом палочка и с интервалом потом в одну клеточку. А эта девчонка рядом сидит, ее фамилия была Жарова, я помню, она стала писать и вот так закрывается. Я говорю: «Жарова, а чего ты закрываешь свою тетрадку? – Чтобы ты не подсматривал. – Да, ладно, Господи!». И я уже, наверное, имея опыт, что-то я делал дома, я правильно написал с этими интервалами. Она же изобразила это, как забор, без всякого интервала. Не ухватила, что надо интервал, а от меня прячет, чтобы я не списал. Вот учительница стала проверять: «Агарков, у тебя правильно, а у тебя, Жарова, неправильно». И вот это она расплакалась, что у ней неправильно. А она, [*учительница*], объяснила ей, что ничего страшного, надо делать интервалы, зазоры, а ты не сделала. Потом эта девчонка мне показывала фокусы: «У тебя есть копейка?». Я говорю: «Есть», и достаю копейку. Она: «Дай сюда, фокус». Раз, в рот: «Проглотила. – Да ты что!». Открывает рот, я

заглядываю, и вдруг замечаю, что копейка приклеилась к небу [смеется]. И вот так мы развлекались. Вот что я помню. А потом еще...

Яйца с собою брали домашние? Куры у Вас были свои или покупали?

Нет, не было, это, наверное, покупали. Ну, Вы уж такие тонкости [спрашиваете], я не знаю, почему. Вы, наверное, хотите что-то обобщить о народном хозяйстве. Наверяд ли я что-нибудь...

Нет, нас интересует повседневная жизнь во время войны, как Вы жили.

А, повседневная жизнь. А потом, значит, что было, я уже не помню почему-то. Но Минька Ивчатов, сейчас ему тоже недавно 80 лет исполнилось, одноклассник мой, он заведующий отделением в больнице № 6 в Нахичевани, он мединститут заканчивал, рассказывает такое: ты, говорит, собрал свои книги в портфель среди урока и пошел к двери, а Флоренция Каспаровна говорит: «Агарков, ты куда?». А я якобы говорю: «Да, я это все знаю, мне неинтересно». А она: «Нет, уж раз пришел в школу, будь добр, садись и сиди, учись». Но я лично этого не помню. Когда он мне это рассказывает, причем, когда мы с ним встречаемся, он несколько раз одно и тоже мне рассказывает, я говорю: «Миша, да ты мне сто раз уже это рассказывал, и я не помню, что это было. Наверное, ты это выдумал! – Нет, это было». Ну, а потом я даже был отличником за первый класс, и вот так я закончил первый класс.

А про черные бушлаты – Вы их сами видели или это потом рассказали?

Нет, конечно, художественное произведение, Вы же сами понимаете, оно позволяет и даже требует какого-то не вымысла, скажем так, а более широкого развития. Я, например, не могу сказать, что я знал, что этот моряк идет и грустит, да? А я написал, что он грустит. Но это же не называется, что это такая-то выдумка, ложь там...

Нет, конечно, но самих моряков Вы видели?

Да, да! Зимой с 1941 на 1942 годы между двумя оккупациями очень много в Ростове стало именно моряков военных [16]. Почему военных? Они ходили строем, с оружием, пели песни. Вот эта школа № 13 на площади Свободы – вот там они занимали ее, капитально, и нашу школу занимали, но как-то ненадолго. Очень много, фактически, все школы были заняты, вот почему мне врезались в память именно вот эти военные моряки, матросы. Они вот в этих [бушлатах]. Зима, может быть, была не такая суровая, но снег был, все, как положено. Помню, что они шли строем от этой школы, пели: «Ты не плачь, не горюй, моя дорогая, если в море утону, знать судьба такая». Вот это мне запомнилось, и я отразил [в стихах]. А потом, значит, они на фронт ушли или поехали, под Самбек. В народе ходили, как говорится, слухи, потому что газет мы не получали, радио тоже не было. Газеты вывешивали где-нибудь в людных местах – вот там, около базара на 20-й линии. Было еще «Окно ТАСС». Витрина была большая на повороте с 1-й Советской [улицы] к площади Карла Маркса. Значит, вывешивали карикатуры, крупно нарисованные и стихи всякие. Обычно карикатуры были [авторов] Кукрыниксы или К. Ротова, а стихи, как правило, были Маршака, но без подписи. Я помню такие, что, например, там еще начало войны, немцы все еще Одессу штурмовали, там же много румынских войск было. И вот там были соответствующая карикатура и стихи: «В лоб снаряды, пули в спину, дыбом волосы встают, так союзничку-румыну немцы духу поддают». А потом еще что-то: «Гитлер хвастал: буду в танке есть московские баранки». Что-то: «...ударил по танку, он согнулся, как баранка». Да, еще помню, очень мне понравилась, там была соответствующая карикатура уже исторического плана. Я уже тогда историю любил, исторические романы читал: «Гитлер ждал ответа от Наполеона: “Чем, скажи, с Россией я закончу бой?” Тот ему ответил из могилы сонно: друг мой, я подвинусь, ты ложись со мной». Вот это был где-то август-сентябрь 1941 г. Все-таки предвидение было у нашего руководства. А стихи были Маршака, как я потом узнал. И вот, я что-то перебил сам себя...

Вы про моряков говорили...

Да, и вот, значит, слухи ходили, ну, а слухи какие? Что штурмуют наши Миус-фронт, а немцы еще бросали листовки «Миус-фронт – колоссаль! Из русской армии наделаем котлет».

В городе бросали листовки?

Так люди говорили, скажем так. Я лично этих листовок в руках не держал. Ну, такие бравурные, чтобы страху нагнать, посеять панику, такая цель была. И вот стали с фронта привозить раненых моряков.

А Вы видели раненых или только говорили?

Да, я что скажу. Опять в этой школе № 13 прекратили занятия, в госпиталь переоборудовали. Моряков привозят на машине грузовой, начинают их сгружать. Они, как правило, все забинтованные, без рук, без ног там, на костылях. И вот там происходили такие драматические сцены, может быть, у кого там из раненых нервы не выдерживали: «Предательство, мы уже ворвались в Таганрог, а нас никто не поддержал. Немцы нас окружили, и мы еле вырвались». Вот откуда у меня появилась эта строчка, понимаете? Мы не знали насколько это [правда], может это преувеличивалось, может быть, они ворвались в какую-нибудь деревню. Но то, что их очень уважали, что они славились храбростью, лихостью в бою, понимаете? Да это еще со времен Гражданской войны, по моему, шло. Немцы боялись моряков, я знаю, что они даже преследовали семейства моряков во время оккупации. Если узнавали, что где-то есть семья моряков, то немецкие солдаты по собственному почину шли выяснять отношения, как говорится. Вот такие ходили слухи.

И вот, стали привозить раненых, очень много. Они там, лечение же проходило, на костылях потом ходили по улицам. И вот, что я там описал, были такие шулерские игры: наперстки, веревочка еще. Вот сидит, как обычно, инвалид, а почему инвалид? Их милиция старалась не трогать, так, если кто там [другой], милиция могла и забрать, а то сидит: «Подходи!». Веребочку разбрасывает – так, петельки, петельки. Угадаешь петлю, значит, деньги лежат там, сколько-то, значит, выиграл. Не попадешь в петлю – проиграл. Это шулерские номера были, и ловили, как говорится, таких, ну, легковерных, и потом обирали их. Или также эти наперстки: были три таких чашечки или стаканчика непрозрачных, и вот он шарик там кидал, быстро менял: угадай, под каким колпачком шарик, а потом оказывалось, что там вообще шарика нет. Вот такие мне запомнились всякие сцены.

А как вторая оккупация началась, помните?

Вторая оккупация уже, как сказать, более весома происходила. Бомбежка помню такая, что 11 июля была последняя тревога объявлена в Ростове, и уже отбоя не было. Бомбили центр города, нашему Нахичеваню доставалось мало первые дни. Но потом, в самые последние дни отступления, когда поток отступающих [военнослужащих] Красной армии хлынул через переправу на Зеленом острове, тут они уже стали бомбить и наши улицы, по ним отступали наши части, красные. И особенно на 29-й линии – ужас, что творилось. Там потом, когда фронт прошел, мы ходили – там было все сплошь забито сгоревшей техникой, все улицы перед 29-й. Иногда и обгоревшие трупы красноармейцев попадались – не так, напрямую, а где-то в ямах каких-то. Один, мы видели, труп в Дону плавал, около завода. И мы ночью слушали: всю ночь стучали топоры. Мы на 15-й [жили], все-таки от 29-й прилично. Ночью, если было тихо, было слышно: «Тук, тук, тук, тук». Ну, вот, отец говорил: переправу ремонтируют. Только что-то там сделали, еще темно, уже пошли наши повозки, там, машины, все пошло, пошло, пошло. Утро наступало – все гонят: быстрее, быстрее, пробки уже образуются. Бросают лошадей на улице, машины бросают. Шины снимают, и водители на этих шинах переплывают Дон. Как только 9 часов утра, появляются немецкие самолеты. Я говорю: «Это они кофе попили». У них война – не война, а завтрак должен быть вовремя. Это у нас так, по крайней мере, люди так говорили.

Откуда такие представления?

А из этих разговоров все [смеется]. Конечно, ну откуда я мог [знать]? Просто говорили, спрашивалось [объяснение]: почему немцы прилетают в 9 часов? Уже даже сами наши красноармейцы говорили: в 9 часов прилетят. Быстро эту переправу на 29-й [линии], в конце концов, разбивают. [Наши] тяжелую технику вообще бросали, а на чем попало перебирались на тот берег, отступали и отступали. Драматично, конечно, было очень. Был, значит, такой случай. В наш двор зашли два красноармейца: «Мамаша, что-нибудь покушать можно?». А мы – я, мать, бабка, нет, бабки не было, была тетка – напекли целую пачку пышки. Тогда так называли. Тогда на базаре продавали не муку, а мучка называлась – это вот обметали какие-то там сусеки. Т.е. это была мука уже с примесью песка что ли,

хрустела не всегда, но частенько. Короче, женщины взяли и отдали двум бойцам. А они, видно, что шофера что ли, стояла машина. Они сели в эту машину, грузовая такая, полуторка, пустая или что-то везли, не помню. И вот, они на 15-й линии, доехали до 19-й линии, и немецкий самолет спикировал, и прямо в эту машину бомбой попал. Мы потом ходили, смотрели. Видно, бомба какая-то небольшая была – развороченная машина, сгоревшая вся, а этих трупов не было. Или убрали их, или они убежали перед тем, как взрыв был.

Как вошли, значит. Среди дня летнего вдруг пошел слух такой: немцы или кто там едут по Инженерной [улице]. А у нас перед Инженерной построили баррикаду из кирпичей: стена, знаете, ну, с пулеметными гнездами, но никто эту баррикаду не защищал, когда наши отступали. Короче говоря, что я там увидел? Первое, это ехали на велосипедах, но не немцы, а словаки. У них была такая [форма] цвета хаки, говорили, что это у них английское сукно, цвета хаки были шорты короткие, жарко было. Все женщины говорили: «Вот, бесстыдники, в трусах!». Молодые парни, все молодежь. Кто-то там дверь приоткрыл какую-то и закрыл в каком-то доме на Инженерной. Один сразу соскочил, подбежал и стал стучать автоматом по этой двери. Открыли, он что-то стал орать, вот так рукой размахивает: то ли не смей смотреть, я не понял, какое-то неудовольствие было. И вот это первый день мы видели. Проехали, но мы уже никуда не ходили. Еще мы их не видели, уже немецкий «мессершмитт» прямо на бреющем полете над нашим двором [пролетел], развернулся далеко и опять заходит на наш двор. И вот он чуть за нашу дымовую трубу не цепляет. Проносится, у него была какая-то желтая окраска, черно-желтая, кресты черные с желтой такой окантовкой. Прямо чуть ли не в 10 метрах от тебя проносился, уже перед самым приходом [немцев], то ли он высматривал какие-то цели или просто лихачество свое показывал.

А потом, на следующее утро, рано утром стук в нашу калитку, в наш двор. Открываем – два словака заходят. Один был в комбинезоне, в синем таком, оружия у него никакого не было, у него в руках была граната немецкая, на длинной деревянной ручке, и он ее все время подбрасывал и ловил за ручку. А рядом с ним был солдат во всей, как положено, форме цвета хаки, винтовка у него была на ремне через плечо. Они прошли по нашему двору, а в этом доме, где жили тетки, там был у них погреб, и снаружи земля уже обвалилась, и там как бы яма была под домом. Один подбежал, сразу стал туда заглядывать, подзывает: «Партизан, партизан, есть?». «Нет, никаких партизан у нас нет, вот, все». Зашли на веранду к тетке, у нее какие-то старые ржавые ножницы валялись на столике, на веранде. Один из них схватил эти ножницы, пощелкал ими и бросил, значит. По-моему, в наш дом даже не заходили и ушли. А потом стали целой гурьбой, уже и калитка не закрывалась. А у нас во дворе перед домом росла жердела [17], старая такая, у нее метра три над землей была такая ветка. И вот, значит, заходит группа человек 5–6. Видно, шли мимо строем, как увидели жерделу – полезли на нее и давай шмонать, прямо тут же едят. Потом какая-то команда с улицы, они прыгивают с дерева, пошли дальше.

Вот, как я понял, у нас Нахичевань занимали словаки, и с ними разговаривали, это славяне, спрашивали: «А сколько тебе лет?». Он говорил: «23 лет». Вот так отвечал. Все были вот такого призывного возраста, молодежь. Это интересно Вам? Я обобщаю даже, но это мое личное мнение. К ним все прилипало, все что-то хотели унести. Заходили к нам в комнату, в наш дом и матери: «Матка, памятьуй». Она не поймет, что значит «памятуй». Потом поняли: дай на память. Вот, он смотрит, если там хорошие ножницы, или откроет, посуда ему понравится, какая-нибудь чашка, он заберет, понимаете. С какими-то извинениями иногда, что-то начинает говорить, объяснять и уходит [смеется].

А немцы тоже так поступали, как словаки?

Немцы как-то...

Не видели немцев?

Нет, ну потом шесть месяцев, конечно, мы видели, но это уже были не фронтовые части, как Вы понимаете, а всякие там тыловики, управление железной дорогой, железнодорожники немецкие.

Кто лучше и кто хуже себя вел: тыловые или фронтовики? Можно сделать такие выводы или нельзя?

Вы знаете, вот такие выводы вообще нельзя, наверное, делать, обобщать. Потому что люди разные, и они по-разному себя ведут. Один там, как те же немцы, они там могут пройти мимо, молча, а другой может к чему-то придраться, начать тебя дубасить, не поймешь, за что.

Были такие случаи?

Да. Со мною, например, был такой случай: мы с моим другом Стасиком часто ходили в парк Октябрьской революции, около театра [имени] Максима Горького. В этом парке было очень много немецких автомашин грузовых, не [с] фронта, фронт уже был далеко, Там, видно, хорошо было с маскировкой, с воздуха не видно, и там много стояло фургонов. А у них была такая современная техника. Знаете, машины очень мощные, громадные, и много там было всякого обслуживающего персонала. А мы, значит, чем с моим другом увлекались? Мы собирали коробочки из-под сигарет немецких. Они были такие пестрые, красивые...

Да, у Вас описано.

У меня там целый чемодан, я помню, набрался. Потом они со временем стали в негодность приходиться, ломаться. В конце концов, мать их все взяла и сожгла. Но иногда были очень красочные, особенно, когда свежие, в серебре, в золоте что-то. Египетские виды, табак же в Германии не растет, его откуда-то привозили. Египетские, турецкие папиросы, нет, папирос у них не было, сигареты. Мы такие вот вещи собирали. И мы один раз в этом парке шли, и вдруг выскакивает немецкая собака, овчарка: «Гав!» И за нами. Громадная такая собака. Ну, что такое немецкая овчарка Вы представляете? Мы бросились бежать, Стасик бежал впереди, а я сзади. И вот эта собака меня догнала и, что я помню, сильный толчок, я кубарем лечу на эту тропинку или дорожку. Мне мать шила из противогазовых сумок одежду – рубашку и вот эти шорты, мы тогда не называли шорты, а просто короткие штанишки. И вот эти короткие штанишки у меня были разорваны сверху донизу, так, что я потом шел домой и так их держал. И какой-то крик по-немецки, и сразу собака отбежала. Я смотрю, там, вдали стоит немец, он мне так запомнился: раздетый, в трусах и сапогах, значит. Что-то мне стал кричать, грозить мне вслед пальцем, а собака к нему подбежала и ждет команду. Т.е., этот немец ее отогнал. Если бы не этот немец, черт бы что со мною эта овчарка сделала. Вот, был такой случай, поэтому тут судить, кто лучше вел себя [нельзя].

Мой друг детства Стасик рассказывал. Жил он на 1-й линии в частном доме с матерью и младшим братом. Отец его, инженер-строитель, болел и умер в 1942 году. В начале второй оккупации зашли к ним в дом несколько немецких солдат. У Стасика в доме был граммофон и пластинки в специальном чемоданчике: песни в исполнении Шульженко, Утёсова. Немцы граммофон включили, слушали песни, а когда стали уходить, прихватили чемоданчик с пластинками с собой. Мать Стасика побежала за ними по улице, просила вернуть пластинки и плакала. Вдруг к ней подходит откуда-то немецкий офицер и как-то спрашивает, почему она плачет? Она отвечает: «Да вон те ваши солдаты забрали у нас пластинки». Офицер что-то зычно крикнул тем солдатам, они тут же вернулись и отдали матери Стаса чемоданчик. Офицер поставил солдат по стойке «смирно», сердито их отчитал, потом что-то скомандовал, и они бегом умчались.

А в конце второй оккупации поселились у Стаса в доме два немца, да не простые немцы, а полевая жандармерия. Я их один раз видел: такие здоровые, мордастые бугаи, на груди у них болтались большие продолговатые изогнутые бляхи с надписью: «Feldpolizei». У них был мотоцикл с коляской. Вечером они приезжали со службы, привозили каждый раз водку, колбасу, консервы, шоколад. После ужина с возлияниями (хозяев не угощали) они начинали разговор с хозяйкой: «А где твой муж? – Он умер. – А кто он был? – Инженер. – Инженер? При всем при этом?». Жест вокруг рукой, в смысле: все очень скромно. Да у нас инженер – это большой человек, у него вилла, автомобиль, прислуга. И уж окончательно захмелев, высказывались в таком смысле: «Криг шайзе [18], если Гитлер хочет воевать, пусть сам лично дерется со Сталиным, кто кого? И тогда все простые немцы пошли бы по домам».

Моя родная тетка Зина и моя родная сестра рассказывали. В конце второй оккупации от знакомых узнали: немцы взорвали «Крупорушку» – Крупозавод на [переулке] Крепостном, внизу у Дона, и народ тащит оттуда крупу. Взяли санки, мешки и помчались на

Крепостной переулочек. А там перед «Крупорушкой» оцепление из немцев, никого не пропускают. Тетка Зина и так, и сяк пыталась, подошла к одному: «У тебя киндер [19] есть? – Есть, в Германии. – А наши киндер голодают, кушать нечего, пропусти». А он: «Злато есть? Дай злато». У тетки было на пальце тоненькое золотое колечко, сняла, отдала, но с условием, что он пропустит ее обратно уже с грузом. Заходят тетка Зина с моей сестрой на этот завод – там сплошные развалины. Одна кирпичная стена накренилась, вот-вот рухнет, а под ней узкий лаз и внизу гора крупы – перловки. Тетка в этот лаз не смогла протиснуться, а моя сестра, ей 14 лет, худенькая, пролезла. Стала перловку в ведре подавать тетке, а та насыпать в мешок. Вдруг подходят какие-то немцы, закричали: «Опасно! Вэк, вэк!» Стали выгонять, вытащили сестру из этой ямы и даже помогли дотащить мешок с крупой до санок. Привезли этот мешок домой, развязали, а в крупе много мусора: камешки, песок. Потом промывали, мучились. Ведь и с водой была проблема. Для хозяйственных нужд растапливали снег, таскали воду ведрами из Дона.

Моя двоюродная тетка Неля (правильно – Нелли), я уже о ней говорил, рассказывала. В конце второй оккупации поселились у нее четверо немцев. Из большой комнаты ее с маленьким (3 года) сыном выперли в крошечную кухню, а в большую комнату заходить запретили. Чем эти немцы по службе занимались неизвестно, только каждый вечер, а то и днем у них было застолье, веселились. пили, крутили патефон, но никого из женщин не приводили. И вот однажды ночью была сильная бомбежка. Наши бомбили, бомбы разрывались близко. Непрерывная стрельба, грохот, взрывы, а эти немцы пьяные, поют песни, хохочут. Тетке стало очень страшно, кругом какой-то ад, сумасшествие, ребенок на руках плачет, ревет. С ней случилась истерика. Кричит на немцев: «Да замолчите вы, проклятые дьяволы! Чтоб вы провалились, креста на вас нет!» Немцы выскочили из своей комнаты к ней. Видимо, поняли все буквально: чтобы показать, что они не дьяволы, а христиане, вынимали из-под рубашек нательные крестики, становились на колени и крестились. Тетка Неля была красивая, и с ребенком на руках она, наверное, с пьяных глаз, казалась им самой Мадонной.

В самые последние дни второй оккупации пошел слух, что немцы забирают мужчин, гражданских, и без всякого повода убивают их. Причем, делает это самая, что ни есть фронтовая голь по собственной инициативе. Среди фронтовиков тогда уже было много немолодых, сорокалетних. Увидят мужика: «Ком!» Отведут в безлюдное место и шлепнут. Объясняли это так: «Завтра Рус Иван сюда придет, их мобилизуют, дадут в руки винтовки, и они будут в нас стрелять. А так мы их заранее без помех поубиваем». Так сказать, немецкая рационализация. Вот так под самый конец немцы «умничали». Нужно сказать, что к слухам мы относились довольно критически. Сами этого не видели, но считали, что могло и быть. Когда уходившие с немцами предатели говорили: «Идут красные, убивают всех, “до ноги”», мы не верили. Но, когда говорили, что немцы собрали 200 человек служивших им русских полицаев и всех расстреляли, мы, зная немецкие порядки, охотно верили. И вот на фоне этих слухов заходит в наш двор немец, и винтовка у него не как обычно, на ремне за плечом, а в руках, и что-то высматривает. Мы это сразу учли. Макар, наш дворовый кобель, исчез, как призрак, ученый, его уже пытались застрелить. Отец на всякий случай ушел в самую дальнюю закрытую нежилую комнату. Немец зашел в наш дом, а на наше счастье в это время топились печка, от нее шло такое благодатное, такое дефицитное тепло. И немец дальше печки уже не пошел. Долго молча около нее стоял, грелся. Потом, видимо, подобрел, также, молча, ушел. После его ухода мать впала в обморочное состояние, ее покинули силы. Ведь если бы немец обнаружил отца, то еще бы и заподозрил в нем партизана, и тогда всем конец.

Вот такими вспоминаются нам немцы-оккупанты, хоть тыловики, хоть фронтовики: наряду с сентиментальностью (изредка), стремлению к порядку – жестокий и циничный прагматизм. В своей массе они равнодушно относились к страданиям нашего мирного населения. Согласитесь: словосочетание «русская душа» звучит понятно и естественно, а «немецкая душа» – звучит нелепо, неестественно, режет слух. И не верьте бывшим солдатам вермахта, когда они разглагольствуют, что были «честными зольдатами», выполняли приказы и убивали только в бою. Не зря ведь евангелисты современной Германии, бывшие оккупанты, чувствуя уже недалекую кончину, приезжают в нашу страну, каются, просят прощение за совершённые злодеяния. Верующие, они боятся божьего суда и божьей кары.

Вы описываете в стихах ситуацию про Августина и Маньку...

Это художественный стих чисто. Это же уже не идет под рубрикой «Кадры из военного детства». Ну, то просто, то, что некоторые женщины имели какие-то сношения с немцами, это не секрет. Но в массовом количестве этого, конечно, не было. А потом, что я могу об этом сказать на моем уровне? Хотя так, конечно, общаться приходилось. Вот, Вы говорите: «Кто лучше относился?» Нас никто не спрашивал, открыли ворота, заехали, целая ватага немцев: «Матка, где у Вас дрова, где чего?». Знаете, все ж это было тяжело [*достать*], дефицит, [*а они*] сразу все сожгли за один вечер, не думая и не слушая никого, вели себя нагло, как хозяева. Но не было каких-то зверств, я не видел, но и мы ведь им же не сопротивлялись и не делали никакого вреда. А если бы мы им что-то сотворили, они были очень жестокие. Я вообще считаю, что это нация такая. Не зря же, вот я читал «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ», исторический роман, автор Лион Фейхтвангер. Там эта Маргарита Маульташ – она была безобразная, и местные крестьяне в Германии, ну, не совсем Германия, это Тироль, ну, все равно, немцы живут, говорили: «Да, если бы у нас в деревне родилась такая уродина, ее бы еще во младенчестве сбросили бы в пропасть». Представляете себе, что такое германская нация!

О событиях в Змиевке [19] знали тогда что-нибудь? Или потом узнали?

Нет, мы не знали. Во-первых, от нас это было далеко. Во-вторых, на нашей улице как-то не было евреев. У нас там были одни, они эвакуировались, он был служащий, начальник там и все. Армян у нас очень много, ну, армяне – это же наши люди [*смеется*], как говорится.

Давайте вернемся к мотивам, которые побудили Вас создавать стихи. Это только настойчивые просьбы Ваших друзей или все-таки у Вас была какая-то внутренняя потребность? Почему Вы все время возвращаетесь к образам детства?

Вы знаете, сколько у меня неоконченных, брошенных [*стихотворений*]? Не хватило, как говорится, тям, чтобы напечатать. Это что-то надо было, а если пишу-пишу, а потом прыг-скок. Самому не нравится, что получилось, я даже уничтожаю. Господи, я не Пушкин, не Высоцкий, никто там архивы мои собирать не будет. Просто, понимаете, то было более счастливое время. Если так, с высоты смотреть, во-первых, у нас всегда ностальгия о прошлом. Даже великие писали, что настоящее уныло, что пройдет, то будет мило. Есть такие стихи у Пушкина. Вот, я не ответил, да?

Нет.

Во-первых, скажем так, война была, такая война, как была Великая Отечественная война. Вот, прошло 70 лет, а она, как говорится, незаживающая рана, боль. Поколение уже фактически вымерло, мне уже самому в этом году 80 лет исполнится, и моих ровесников поумирало уже очень много. Это, понимаете, наша героическая страница нашей истории. И я уже чувствую, что сопричастен этой истории, я уже как бы носитель какой-то этой истории. Раньше, 20–30 лет назад, Вы бы мною совершенно не заинтересовались, потому что были участники, герои, которые шли в атаку, ранения получали, гибли там, убивали немцев, защищали Родину. А о таких, как я, Господи, что о них писать? Ну, прятались там где-то по подвалам, выглядывали, что-то видели, что-то помнили. Ну, и кому это надо?

А когда Вы осознали вот эту сопричастность себя к истории? Вы же не сразу это почувствовали? Стихи в основном написаны в 2000-х гг. или раньше?

Я раньше писал понемножку просто.

Времени не было?

Началось, я скажу, так. Вот я – любитель поэзии. Отчасти все, конечно, с натяжкой. Иногда бывает, надоедает, бросаешь. Любитель всяких песен, особенно вот таких, которые мне нравятся. Трудно сказать. [Песня] «Черные ресницы, черные глаза» была во время войны – мне нравится. А когда «На позицию девушка провожала бойца» – мне абсолютно не нравится. Как-то мне кажется она слишком слащавая, неправдоподобная, понимаете? Там: «Темной ночью простились...». Вроде боец самостоятельно пошел на фронт, сам по себе. Не так же было. Вызывал военкомат, собирали в команды, и там прощаться не давали, да и некогда было.

Вы решили внести правдоподобие в существующие образы?

Я начинал вот так вспоминать. Многие я помнил в молодости, и не мог вспомнить какие-то строчки, слова. И я тогда думаю: да подожди, а давай я сам сочиню. Вот так, например, была история с песней, она у меня, кстати, здесь. Она у меня идет под рубрикой «Народные песни». Была такая песня «Коля – тракторист». Я тогда служил в Новгороде Великом, в армии, офицером. Я закончил военно-инженерное училище, и туда был послан, потом в Подберезье под Новгородом. И там ходили на концерты. Знаете, какие-то местные, а, может, приезжали из Питера, из Москвы «варяги» с концертами. Тот же приезжал Кадочников, приезжал Бернес, Жаров – вот такие, но это было как-то неофициально. И на этих концертах они пели песни, которые мы первый раз слышали, может, и последний раз. И вот там была [песня] «Коля – тракторист». Я мотив запомнил и слова. Только я запомнил, что вот: «Только он под горочку спустился, немцы показались впереди». А к чему это и чего? Потом: «Полоса несжатая стояла, Колю-тракториста все ждала». И я потом задался целью, и сам или, может быть, у меня было вдохновение какое-то, как я говорил, «муза пришла в это время», и я за день, за два эту песню сочинил в собственной редакции. Но я оставил там эти слова, которые я запомнил. Думаю, это же, наверное, не плагиат, потому что если там и есть плагиат, то может каких-нибудь 5 %, остальное все я сам. Неужели это у меня где-то там, как на фотоаппарате, память какая-то вторая? Теперь она у меня всплыла. Но, наверное, нет. Потому что я оперировал своими данными, то, что я где-то читал, видел. Да я и не анализировал, почему. Как-то шел и стал петь песню «Прощание славянки». Меня все время мучил вопрос: вот есть марш «Прощание славянки», а слова? Вот еще вальс «Осенний сон», я просил, мне даже по Интернету искали – все без слов. А со словами? Пришлось самому сочинить.

Вы дописывали в истории то, чего Вы не помнили, посредством этих стихов?

Да, я не был свидетелем, но на тему, которая меня жгуче интересовала. Без темы я писать не могу. Ко мне иногда подходили: вот у кого-то там день рождения, сочини. Я говорю: «Слушайте, так я не умею. Я не берусь и не буду. – Ну, давай: а теперь мы поздравляем и еще тебе желаем...». Я говорю: «Сочиняйте лучше сами, я такие стихи сочинять не буду».

Как Вы говорите? Сохранились ли письма у нас? Нет, очень долго у нас сохранялась открытка от дяди Мити с Черноморского флота. Она была чуть ли не на простой бумаге, не такие, как сейчас. И там была изображена такая карикатура: с портретом Гитлера какой-то осьминог с фашистским знаком, а его штыками пронзают со всех сторон, один, значит, красное знамя, другой – американский флаг, третий – английский, французский, со всех сторон. И, значит, такие стихи: «Конец кровавых махинаций, фашистский зверь зажат в тиски, удар объединенных наций его разрубит на куски». Вот эта открыточка у нас почему-то долго сохранялась, и вот эти письма, которые пытались сохранить – в белье, в комодке лежали почему-то, я не знаю. И там, когда что-то ищешь, я наткнулся на эти письма. И я там долго прятал газету. Я ее нашел, газета «Молот» за 22 июля 1941 года. Там стройка была, где я работал, и раскопали целую кучу старых газет. Стали все расхватывать, и я успел взять эту газету. Я ее долго сохранял, а потом все это исчезло. Просто женщины делали уборку, и весь этот хлам они сожгли.

А часто Вы свои стихи кому-нибудь показываете, читаете?

Вот, я сам изобрел такую форму оформления стихов. Это делается просто. Теперь у меня есть компьютер и я сам, с прошлого года. А раньше я шел в мастерскую, где эти ксероксы, мне это набирали, набор текстов делали, и я потом размножал сколько [надо]. И под моим руководством, я все подбирал, как оформить, дотошно смотрел, чтобы это было таким шрифтом, например, номер 18. Особенно я придирчиво относился к правописанию, иногда сам в тупик ставился, не знал: вот, надо черточку или не надо, надо запятую или не надо. Но если пропускал, то потом корректировал и заново распечатывал. У меня получалась вот такая чистая заготовка в нескольких экземплярах. Потом я вот эти вот картиночки, какие-то фотографии или из каких-то книг, я шел туда, где этот ксерокс...

А подбирали картинки как?

Я сам, по теме, чтобы как-то совпадало. С уменьшением получались вот такие маленькие, на ксероксе их размножали. Я потом вырезал, наклеивал, получалась заготовка.

Потом опять шел на тот же ксерокс и оттуда в любом количестве, хоть десять экземпляров, хоть пять, хоть два мне делали. Иногда удачно, иногда нет.

Вы были военнoслужашим?

Да, я закончил военно-инженерное училище, Ростовское, в 1954 году. Вообще, если Вас интересует моя биография, коротко: в 1940 году поступил в первый класс, в 1947 году закончил семь классов. В 1943 году была немножко чехарда. Мы пошли, у меня друг самый лучший Стасик, мы до сих пор переписываемся, т.е. дружим до сих пор. Там немножко приврали, короче говоря, во втором классе я вообще фактически не учился. Ну, засчитали, и поэтому в 1947 году я закончил семь классов. Жизнь была тяжелая, короче говоря, а у Стасика отец был инженер-строитель, но он тоже умер во время войны. У него была тяжелая болезнь, ему нужен был рацион специальный, и, когда была голодуха, он умер в 1942 году. Короче, он мне говорит: «Давай, поступим в техникум строительный, хорошая специальность». Отец почему-то хотел, чтобы я в машиностроительный пошел. Он говорил: «Вот я вижу, как этот прораб на стройке мечется там, бедолага, я не хочу, чтобы ты такую жизнь вел». А я все-таки пошел в строительный. Техникум закончили мы в 1951 году 18 лет, на следующий год все равно идти в армию. А тогда мы уже знали, что в Ростове есть военно-инженерное училище. Мы поступили в военно-инженерное училище. 18 лет мне, а Стасику было 19. Я еще допризывного [возраста], потому что с 19 лет тогда брали. Мы его закончили. Я – мостостроительное отделение, такое было, группа там более приближена – теоретическая механика, строительная механика, т.е. как строить мосты. И даже нам выдали и военный диплом, и гражданский диплом одновременно, т.е. я стал дважды техникум-строителем. Я имею диплом техника-строителя за техникум, тоже Ростовский, который на Братском, туда дальше, на Доломановском, и военно-инженерное училище. В 1954 году закончил, меня послали в Новгород Великий. И вот там два года я прослужил. Но уже тогда я узнал, что в Ленинграде есть Военная академия тыла и транспорта, там есть дорожный факультет. И я написал туда заявление, все это очень предварительно, за год делалось. Потом, где-то через год, получил ответ, что я приглашаюсь на сдачу приемных экзаменов, мне положен месяц отпуска перед экзаменами при части, а 1 августа я должен явиться для сдачи приемных экзаменов. Все это было сделано, были всякие препятствия.

Как Вы считаете, во время войны частная жизнь у человека могла быть? Вот у Вас, как у ребенка, частная жизнь была?

Да была, конечно. Ну, смотря что называть частной жизнью, и где ты во время войны. Вы ведь не ставьте так вопрос широко. Если я на фронте или в армии, конечно, я считаю, я и сам военный человек, я три года в училище был, у нас там очень была, так скажем, тяжелая служба. Очень трудно. Я всегда календарь вел, сколько дней осталось до отпуска, сколько дней осталось до окончания училища. Потому что в 6 утра зимой подъем, в 5 утра летом, четыре месяца лагеря у нас были, от мая по 1 сентября. А в мае еще, знаете, такие бывают холода, что мы, помню, в палатках спали, двое ложились на один матрас, а вторым матрасом накрывались. Дожди как зарядят и ничего. Начальник училища заставлял каждое утро в Темерничку всем нырять, сам впереди бежал. Его кличка, его Налим прозвали. Вот такая грудь у него была, вот такое пузо [смеется], старый пограничник, полковник. Он бухался, говорил: «Когда Налим упал в Темерничку, речка сразу из берегов вышла»...

Это после войны, а во время войны? Когда Вы бегали безнадзорным. У Ваших родителей была частная жизнь, своя, личная жизнь?

Ну, жизнь была какая? На выживание. Я помню, что все время я ходил полуголодный. Вы понимаете состояние? Когда ты никогда не наедаешься. Ты встаешь, а тебе есть хочется. Ты вроде ел, а есть хочется. И, конечно, какая тут личная жизнь? Все было направлено на то, чтобы где-то достать эти несчастные продукты, каким-то образом заработать или как мы, например, вот там. У меня тоже это в стихах отражено. Таскали эту пшеницу из Александровки, там, когда немцы второй раз занимали Ростов, стоял эшелон с пшеницей, его наши подожгли перед отступлением. Он там горел, не горел, вдоль этого состава вот так лежала сплошная пшеница на земле. Половина черная, половина нормальная. И вот мы мешками брали, на чем могли, но у нас ничего [не было], потом там такое место было, знаете, там ямы сплошные, и все это на горбу, на плечах, кажется, кто, сколько мог унести. Мы это несколько дней таскали, мы потом с этой пшеницей фактически жили всю оккупацию. На базаре продавали вот такие мельницы, засыпаешь и крутишь. Там что-то

высыпает, какая-то сечка. Но зато из нее пекли какие-то пышки, ели. Вот это была частная жизнь.

А игры какие-то детские были?

Игры... Ну, мне было уже 8–9 лет. У нас, я там помню, развлечения были такие, что мы враждовали улица на улицу. Причем, когда стали взрослыми, мы были хорошими знакомыми, мы пожимали руку друг другу. А когда мальчишками были, я помню, мимо боялся ходить, потому что, если натыкался, они гурьбой собирались и лупили меня. А когда кто-то из них шел, я там кричал: «Эй, скорей!» И тоже гонялись за ними. А так, в нашем саду, было все разгорожено, мы кидались камнями, они в нас, мы в них. Взрослые увидят – попадало. Ну, женщина выходит из квартиры, а тут камни летят с неба. «А, хулиганы!», – кричала. Мы разбегались.

Возвращения наших войск во время оккупации ждали? Верили или не верили, что вернуться?

Ну, конечно, ждали. Слухи же всякие ходили. Я, конечно, не берусь, как это, какие-то делать сообщения, скажем так. Это люди другого уровня должны. Я же не знал ничего, фактически, но мои впечатления, что слухи ходили, что немцев разгромили под Сталинградом. Слухи ходили и не только эти. Вот, о моей тетке Неле, она занимала комнату на 31-й линии. Одна такая маленькая, кухня темная, а вторая большая, сквозной вход, большая. А я к ней частенько ходил – по какому поводу. У нее был совсем маленький сын, мой двоюродный брат Юрка, 1939 года рождения. Отец – летчик военный, Галаджев. Потом уже после освобождения, чтобы я не путал, передали, она получила письмо из части, что ее муж Борис Галаджев погиб под Сталинградом. Даже описывают, что загорелся самолет, и как все выпрыгнули, успели, а он не успел выпрыгнуть и сгорел в самолете.

Как вселялись немцы? Никого не спрашивали, мог кто-то там придти и открыть двери, я не знаю. Помню, как у нас было: пригнали машину, вошли в комнату: «Матка, давай растапливай печку, а то у Вас холодно». А когда растопили печку, они стали вшей трусить над ней. Ну, я по порядку, про тетку Нелю. Я приходил к ним частенько, чтобы ей отлучиться куда-то. Я оставался с этим Юркой. Все-таки два-три года, нельзя бросать одного. А потом она меня всегда кормила за это. Наливала тарелку супа, что-то там к чаю. Я с удовольствием кушал, а потом приходил домой, если я там уходил на полдня, жили мы территориально недалеко, приходил домой, а мать говорила: «Ну, тебя там Неля кормила?». Я говорю: «Нет. – Вот какая, а? Ну, садись». А я думал: вот, какой я хитрый, и там поел, и здесь поел. Вы же понимаете, когда тебе на первое дают, как мы говорили, брандохлыст, это такой супчик, не поймешь из чего, а на второе давали пшеничную кашу или перловую кашу, ну масло, но масло было какое? Подсолнечное. А еще там всякие маргарины были, еще черт знает, смалец какой-то был, сейчас мы такого и не знаем. И должен я сказать спасибо донской рыбе, Дону. Вот, нас выручала донская рыба. Всегда или очень часто у нас к обеду подавался чебак.

А кто ловил?

Вот, слушайте. Чебаки – это крупные, вот такие вот, часто самки с икрой, и запекались они в собственном жиру. Мать ставила куда-то, технологию не скажу. А приобретали мы так: мы шли, обычно собиралась кампания в несколько человек, шли к рыбакам на тоню. Тоня называлась – это такое место, где рыбаки базируются. Вот, и во время войны были, я не знаю, какие-то мужики, может, старики, какие-то пацаны, какие-то женщины, бабы какие-то, все в спецовках, в таких сапогах. Они выбрасывали эту рыбу со своих баркасов, рыбы было в Дону много. Говорили потому, что трупов много. Я не знаю. Даже сейчас это шепотом говорю. И вот там очень дешево у них можно было эту рыбу купить. И мы оттуда таскали время от времени, но это какое-то время было. Потом появилась власть крепкая, это все стали запрещать. Стали в артели, под учет взяли. И вот, как мать отрежет кусок чебака, я не умел рыбу есть. Надо мной все смеялись. Говорят: «Эх, ты, еще казак!» Это, конечно, смеялись. Говорят, что Агарковы – это казачья фамилия. Я не берусь на 100 %, но попадаетея по городу частенько. Не умел есть. Я всегда эту рыбу ел вилкой. Мать говорила: «Да разве вилкой рыбу едят? Дай мне хвост», – говорила бабке. Хвост самый костлявый. И вот она быстро, руками – раз, раз, раз, и горка костей мелких, крупных. Все, через некоторое время у нее кроме этих чистых косточек, горки, ничего не было, не оставалось. Я всю рыбу расковыряю и кусочек в рот, вот она мне уколола язык, и все, я уже не буду.

Мне тогда всегда давали ребрышки и икру давали. Я после этого не люблю рыбу есть вообще.

Спасибо Вам, что время нашли для беседы.

Приложение

Из стихотворений А.К. Агаркова

* * *

В последний день морозный оккупации немецкой
Шла наша бабка от знакомых, где мы прятались, домой,
Свернула только на Пятнадцатую с Советской,
Как слышит: «Матка, взг!», и видит немца пред собой.

Она назад, а там уж наш боец с винтовкой,
Кричит: «Ложись!» и матом от души огрел.
А немец сзади бабки, автомат наизготовку,
Упала бабка, тут же выстрел прогремел.

Боец наш к немцу через бабку на дорогу,
А тот лежит, убитый наповал,
А бабка наша невредима, слава Богу.
Боец взял автомат, перчатки с немца теплые сорвал.

Кричит на бабку: «Черти здесь тебя носили!
Убьют! Давай отсюда убирайся поскорей!»
Она за угол на карачках, там ее красноармейцы подхватили,
Смеются, обнимают и зовут мамашею своей.

Запыхавшись, к нам вскоре бабка прибежала,
Кричит: «Все! Наши в городе, пошли домой!»
Смеется, радуется, плачет: «В “переплет” попала!»
И причитает: «Жалко немца, он такой был молодой».

Но на нее прикрикнули родные:
«Кого жалеешь, старая карга?
Тебя самую шлепнут за слова такие,
Убили не парнишку, а фашиста и врага».

* * *

На Пятнадцатой линии нашей ломать баррикады
Немцы пленных пригнали: раздетых, голодных, худых.
Их совсем не кормили немецко-фашистские гады,
Нам, мальчишкам, смотреть было страшно на них.

Мы о пленных в момент по дворам сообщили
И, в ком совесть была, стали все, что могли, собирать.
Сердобольные бабки большую кастрюлю картошки сварили,
Подтащили картошку к несчастным, и стали ее раздавать.

Но солдат-конвоир, настоящий нацистский ублюдок,
Заорал, подскочил, и прикладом тем бабкам поддал.
Никаких оправданий не приемлет подобный поступок:
Опрокинув кастрюлю, картошку, подлец, растоптал.

* * *

Когда драпали немцы, взорвав «Макаронку», я
Побежал по Шестнадцатой линии вслед за толпой.
Там мука высший сорт и помола отличного тонкого,
За такое сокровище дрался б насмерть любой.

Ошалевший нацист предо мной пистолетом размахивал,
А толпа напирала, и не мог отступить я назад.
Но, клянусь, в этот миг не испытывал страха я,
За оклунок муки принять муку был рад.

Возвращался ни с чем, но зато погеройствовал вроде бы.
Вижу, как першероны обозные фуры везут:
С оккупантами вместе уходят предатели Родины.
Очень скоро в Ростове будет немцам капут.

Вижу, как «руманешти» лопатят усердно развалины,
Рядом тлеют останки сгоревших немецких машин.
На сей раз хорошо поработали соколы Сталина,
Достают трупы немцев из-под этих руин.

У базара солдат продает сигареты со спичками пачками,
Над его ж головою призыв партизанский висит:
«Помогайте, товарищи, бить ненавистных захватчиков!»
В сквере куча крестов деревянных немецких горит.

* * *

Война на пороге, у нашего дома,
И немцы в Ростове пока.
А линия фронта по берегу Дона.
Мороз, и замерзла река.

А мы по подвалам, снаряд – он не спросит,
Бабье, старики, детвора.
Стрельба все сильнее, и ветер доносит
Такое родное «Ура!»

Про сон и нормальную пищу забыли,
Но очень хотелось нам пить.
Когда чуть утихло, мы с мамой решили
На Дон за водою сходить.

Гнездо пулеметное, немец плюгавый,
Нестрашный и немолодой.
Мы просимся: «Пан, поднимите шлагбаум,
Пройти разреши за водой».

Небритый, немый тот «пан» отвечает:
«Нельзя, Иван будет пук-пук».
«Нет, найн, неправда, Иван не стреляет
В своих же детей и старух».

Мы к проруби с мамой идем, беспокоясь,
Усеян убитыми лед.
В крови полушубки, видать, напоролась
Разведка на тот пулемет.

И ходят средь мертвых войны вурдалаки:
Гражданский и немец другой,
И шарят в карманах, убитых в атаке,
Рискуя своей головой.

И с полными ведрами мы за шлагбаум,
Где немец к реке пропустил.
Вдруг выстрел винтовочный близко так грянул,
Я воду чуть-чуть не разлил.

Убитая птичка упала пред нами,
А немец, довольный, заржал:
«Ком, матка!» И топал, смеясь, сапогами,
И я поскорей побежал.

Вот так мы водичку домой доставляли.
Конечно, могли нас убить.
Герои? Газеты о них сообщали,
Мы ж просто хотели попить.

* * *

Я убит под Ростовом
С ротой в полном составе
Летом сорок второго
На донской переправе.

Мы опять отходили;
Немцы, асы и профи,
Каждый день нас бомбили,
Выпив утренний кофе.

Над рекой каруселью
Вились «юнкерсов» стаи.
Неподвижно целью,
Лежа, в них мы стреляли.

На мосту, за ночь сбитом,
Нам и дым не потрафил:
Расстрелял с «мессершмитта»
Наглый летчик люфтваффе.

От прямых попаданий
Вновь горел мост разбитый;
Никаких оправданий
Не приемлет убитый.

* * *

Мне снятся бой, налет, войны знакомые картины;
Сквозь сон стрельба далекая и близкая слышна.
Вдруг в наши окна стук и голос тетки Зины:
«Вставайте, выходите, кончилась война!»

Все небо предрассветное в сполохах и зарницах;
Макар наш рыжий, он мудрец среди собак,
Зовет нас, бегая, в щели скорей укрыться,
И наше поведение не поймет никак.

А мы, веселые, не прячемся, над ним хохочем,
Идем на улицу Советскую, на главный наш проспект.
Салют стихийный все сильнее над городом грохочет,
Как будто бы штурмуют стратегический объект.

Народа толпы, звук гармошки, радостные лица,
Загнулась, наконец, проклятая война.
Не по указке сверху, от души, от сердца каждый веселится,
А пьяных нет, поскольку нет ни водки, ни вина.

Мы были счастливы в тот день, начавшийся задолго до рассвета.
Но пусть простит нас грешных и бесхитростных страна:
Мы не кричали с пафосом: «Да здравствует Победа!»
Мы говорили просто: «Кончилась война!»

Загнулась подлая война...

Коля-тракторист

Лето было жарким и суровым:
Враг напал на наш Советский край,
А в полях водил свой трактор новый
Тракторист веселый Николай.

Хоть война гремела недалеко,
Коля хлеб колхозный убирал,
Как был сбит в бою наш храбрый сокол,
С горечью и болью наблюдал.

Летчик, приземлившись с парашютом,
Раненный смертельно, умирал.
Коле он в последнюю минуту
Донесенье важное отдал.

Коля с другом-трактором простился,
Донесенье спрятал на груди.
Только он под горочку спустился,
Немцы показались впереди.

Окрик: «Хальт!» Побег в одно мгновение,
Вражьих автоматов злобный лай;
Истекая кровью, донесенье
Все-таки доставил Николай.

Доложил он командирам точно
Все, как было, и навек умолк.
Он погиб, но донесеньем срочным
Был спасен от окруженья полк.

А на небе солнышко сияло,
Чтобы нива урожай дала.
Полоса несжатая стояла,
Колю-тракториста все ждала.

15.09.2006

Примечания:

1. Главная площадь Нахичевани-на-Дону (в настоящее время – в составе Пролетарского района г. Ростов-на-Дону).
2. При планировании Нахичевани улицы, перпендикулярные Дону, в подражание Санкт-Петербургу называли линиями.
3. Парамоновы – богатая ростовская купеческая династия, владевшая предприятиями, пароходами и торговыми складами.
4. Генерал-майор (с 27 августа 1942 г. – генерал-лейтенант) Н.Я. Кириченко с 26 июля 1941 г. командовал 38-й кавалерийской дивизией, с 4 февраля по 5 апреля 1942 г. – 14-м кавалерийским корпусом, с 10 июня 1942 г. – 17-м казачьим кавалерийским корпусом, 27 августа 1942 г. преобразованным в 4-й гвардейский казачий кавалерийский корпус.
5. Село Самбек Неклиновского района Ростовской области находится в 60 км от Ростова-на-Дону и в 20 км от Таганрога. После освобождения Ростова в середине февраля 1943 г. противнику на полгода удалось здесь задержать дальнейшее продвижение Красной армии. Линия фронта проходила по рекам Самбеку и Миусу, впадающим в Таганрогский залив. Прорвать Миус-фронт и освободить Таганрог советские войска смогли только 30 августа 1943 г.
6. Мореходное училище появилось в Ростове-на-Дону еще до революции. В 1923–1944 г. оно называлось Ростовским-на-Дону политехникумом водных путей сообщений, в 1944–1992 гг. – Ростовским-на-Дону мореходным училищем им. Г.Я. Седова. В настоящее время – Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова.
7. В состав Черноморского флота входила канонерская лодка «Красная Абхазия».
8. «Ляо-Чжай» (полностью «Ляо-чжай-чжи-и», в переводе с китайского: «Повести о странном из кабинета Ляо») – книга китайского новеллиста Пу Сун-лина, по прозвищу Люцюань (1622–1715), широко использовавшего фантастику народных сказок.
9. «Метаморфозы» – поэма древнеримского поэта Овидия, рассказывающая о различных превращениях, произошедших со времени сотворения мира.
10. Ледерин – материал для переплетов, имитирующий кожу.
11. Жилищно-арендное кооперативное товарищество – объединение граждан с целью аренды жилых домов у местных советов и предоставления жилой площади в этих домах своим пайщикам.
12. Бомбардировки Ростова в ходе летнего немецкого наступления на юг начались 8 июля 1942 г. С 10 июля они приняли систематический характер, по 3–4 налета в день. 21 июля город бомбили в течение суток.
13. В ходе Семилетней войны в царствование императрицы Елизаветы Петровны русские войска в 1760 г. захватили Берлин.
14. Здесь и далее А.К. Агарков описывает события первой немецкой оккупации, начавшейся 21 ноября 1941 г.
15. Похороны погибших проводились 1 декабря 1941 г.
16. Для прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога в Ростов-на-Дону были переброшены 68-я, 76-я и 81-я отдельные морские стрелковые бригады, сформированные из моряков Черноморского флота, Каспийской флотилии и курсантов военно-морских учебных заведений. В ходе тяжелых боев с 8 по 16 марта, наступая со стороны Матвеева-Кургана, они понесли большие потери.
17. Жердела – сорт мелкого абрикоса.
18. Буквально означает: «Война – это дерьмо».
19. В августе 1942 г. в Змиевской балке на окраине Ростова-на-Дону германскими оккупантами были уничтожены около 27 тыс. чел., значительную часть которых составляли евреи.

УДК 929/947.0

Интервью с Анатолием Константиновичем Агарковым

Проведение интервью, подготовка к публикации

¹ Евгений Федорович Кринко

² Татьяна Павловна Хлынина

¹ Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, Российская Федерация
344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
Доктор исторических наук
E-mail: krinko@ssc-ras.ru

² Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, Российская Федерация
344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
Доктор исторических наук
E-mail: tatiana_xl@mail.ru

Аннотация. Интервью с Анатолием Константиновичем Агарковым было посвящено истории его семьи, военному детству, нацистской оккупации и частной жизни в годы Великой Отечественной войны. Весь период войны респондент жил с родителями в Ростове-на-Дону.

Ключевые слова: А.К. Агарков; Великая Отечественная война; военное детство; семейная история; частная жизнь.